ЕЛЕНА КРЮКОВА
ЕВРАЗИЯ

Елена Крюкова
Евразия

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23864449
ISBN 9785448508028

Аннотация

Молодой бунтарь. Русский парень, исповедующий радикальный ислам. Женщина, прошедшая путем невероятного страдания. Нищий философ. Их четверо, и судьбы этих людей обнимают собой Россию и Сирию, Турцию и Чечню, Украину и Бурятию. Земля пылает. Сможем ли мы потушить пожар? Кто подарит нам счастье – Аллах, Христос, Будда, или мы сами выхватим его из бушующего огня? Это книга о мире и войне. О боли и любви. О смерти и жизни. Трое мужчин и одна женщина. Всего лишь. Но они могут поменять ход времен.

Содержание

ЕВРАЗИЯ 5
СОГЛЯДАТАЙ 5
ПЕРВЫЙ 50
Конец ознакомительного фрагмента. 263

Евразия

Елена Крюкова

Дизайнер обложки Владимир Фуфачев

© Елена Крюкова, 2017
© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4485-0802-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЕВРАЗИЯ

СОГЛЯДАТАЙ
Andante lugubre e condannato

Человек живет среди людей, а я хотел бы жить среди зверей. И запросто жил бы среди них. Приспособился бы к ним, выл бы по-волчьи, хрюкал бы по-кабаньи. Так мне надоели люди. Умом я понимаю, что без людей, без их давным-давно сконструированного мира не проживешь. Надо есть, пить, а чтобы добыть еду и питье, надо работать, а работу раздают люди, и деньги за работу тоже раздают люди. Мы все меняемся деньгами, пищей, жилищами, мы трясемся в транспорте, опять же изобретенном людьми, мы, люди, живем внутри человечества, и до чего же оно иногда встает тебе поперек горла! По роду моей работы я вынужден встречаться с большим количеством людей. Их лица примелькались мне настолько, что иной раз сливаются для меня в одно зыбкое, трясущееся, как холодец, белое лицо. А может, черное; а может, желтое; а может, раскосое; а может, вообще безликое, без носа, губ и глаз, часто передо мной мотается такая маска, плоская и жуткая. Тогда я смеюсь. Смеюсь над собой, вы понимаете, что такое смеяться над собой. Это не всегда приятно. Скорее

наоборот.

Диктофон в сумке, записная книжка на глупой старинной цепочке, ручка «Паркер» в нагрудном кармане – старомодная ручка, и старомодный пиджак, и старомодный носовой платок высовывается из кармана. Я ношу старомодную одежду, чтобы создать видимость ретрограда. Видя перед собой ретрограда, люди успокаиваются, машут рукой и думают: э, он ничего опасного не может наделать! На самом деле я новатор, экстремист и тайный фрик, а попросту нахал, а еще проще, наверное, подлец. Вы много видели в жизни подлецов? Скажете, все вокруг подлецы, только прикидываются белыми и пушистыми? Что ж, может, вы и правы. Но я так считаю: настоящий подлец редкая птица, его надо изучать и охранять, беречь насколько возможно. Подлецы харизматичны, они двигают цивилизацию вперед. Подлец носит внутри себя целый мир, двойник мира внешнего; он, меняя свой мир, попутно меняет и тот, в котором живет, и это не всегда безболезненно, наоборот, это часто больно, и невыносимо. Но через боль мы приходим в мир, и через боль покидаем его, и через лютую боль рождается в мире все новое и свежее, то, что потом назовут прекрасным и великим. А может, ужасным и великим, без разницы. Но все равно великим.

Тот, кто собирает байки и побасенки других людей о своей жизни, в глазах людей почему-то уравнен с проституткой. Я не шалава, я не жиголо, я не шлюха в штанах, я не извращенец, но при чем тут половые сложности? Моя профессия, она

всегда вызывала у людей отвращение, но ведь именно она запечатлевает эпоху, драгоценное, неповторимое время. Люди так трясутся над временем! Они его проживают – и вспоминают его, и утирают слезы; они оставляют его позади себя – и страстно хотят вернуть, а оно движется, это понятно, только в одну сторону, и люди скрежещут зубами, бьют себя кулаком в грудь и цедят сквозь зубы: ах, если бы отмотать время назад, я бы уж все поменял, я прожил бы жизнь не так! Пустые жалобы, дурацкие. В каждом из нас живет мечта, но далеко не у каждого она сбывается. А мое дело маленькое. Диктофон в портфель, ремешок фотоаппарата через плечо, телефон в карман, а записная книжка вот она, если диктофон вдруг сломается. Правда, на морозе паста в «Паркере» намертво застывает. Но ведь и камера на морозе тоже работает плохо. Я сам плохо переношу мороз, и меня не надо посылать работать в северные страны, пожалуйста. Я и в унтах, и в ушанке, и в «аляске» на морозном ветру застыну, превращусь в комок льда. Сердце уже не греет меня. А вообще-то, знаете, только это под большим секретом, у меня нет сердца. Это чисто профессиональный трюк: чем меньше сердца, тем лучше твой материал. Моя профессия не любит сантиментов.

Я стремлюсь как можно правдивее запечатлеть чужие судьбы – а меня обзывают продажной тварью. Я хочу как можно ярче живописать события – а мне кричат: ты все переврал, все извратил, опошлил и облил грязью! Я пишу то,

что есть – а мне вопят, брызгая слюной: ты, притворщик, ты, пафосный идиот, в твоих поганых текстах одна риторика, ложь и демагогия! Зачем ты клевещешь на наших друзей?! Зачем клевещешь на нас, засранец?! А ну пошел вон, так орут мне в лицо, и чтобы духу твоего тут больше не было! И я спокойно выключаю камеру, выключаю диктофон и ухожу. А уходить часто приходится под пулями. Под осколками снарядов. Такая уж у нас работа, и я не сказать бы что ее очень любил и люблю; я просто привык к ней, ну привыкаете же вы к своему супругу или супруге, и они как ваша рука или нога: живете и не замечаете их, а отрежут их вам – вот тут-то вы запрыгаете, заплачете. Побегайте-ка хоть раз под пулями, и чтобы камера у вас в руках работала, снимала. А потом сядьте за стол и напишите об этом правдиво. И обвините виновных. Что, сложное задание? А, вы не знаете, кто виноват? И что делать, тоже не знаете! Понятненькое дельце, я сам такое мерзкое чувство испытывал тысячу раз.

Люди, люди. Их становится на земле слишком много, и они не знают, куда себя девать, и начинают сами себя убивать. Сначала потихоньку, понемногу, а потом губу раскатывают, размахиваются широко, на масштабную, большую войну. Кто не понимает гадостей войны? Ее ужасов? Да все понимают. И подлецы, и святые, и обычные серые люди, понимают все. И, однако, время от времени все поднимаются и идут на войну, когда кто-то один ее развязывает. Один? Я не верю, что войну начинает один человек. Войну начина-

ет много людей, и всегда по тайному сговору. Войны, кстати, начинаются и с объявлением войны, и без объявления. Внезапность кажется тому, кто войну начинает, безусловным преимуществом. Не всегда он сохраняет это преимущество до конца войны. Ее ход всегда можно переломить. Человечество это наблюдало на экране своей истории уже тысячу раз.

Да, война это самоубийство, коллективное самоубийство; но вот ведь оправдываете вы самоубийство отдельного человека, когда он крепит петлю на гвозде и влезает на табурет, перекрестясь дрожащею рукой, или когда он обливает себя бензином, чиркает зажигалкой и, весь в огне, вопит и катается по брусчатке зимней площади. Или всыпает в рот горсть таблеток и запивает их водой, и ложится, и ждет, когда начнутся последние корчи. Вы такого человека всегда оправдаете, вы даже его пожалеете, попытаетесь понять, что заставило его расстаться с жизнью. Вы не священник, и вам не надо отказывать его родным в отпевании в церкви; вы обычный человек, и вы прекрасно понимаете другого человека, что по разным причинам не захотел жить. А целая страна? Может, она тоже так устала и измучилась, что не захотела больше жить? Вы разве не допускаете такого поворота событий?

Вот я допускаю. Я допускаю все.

Да, я уже в таком возрасте, что я понимаю все и я допускаю все; подлецы интересуют меня ровно настолько, насколько и праведники; я столько всего видел в жизни, столько всяких лиц и рук, взрывов и крови, роскошных приемов

во дворцах и задранных голых женских ног под осенними мостами, в дождливых грязных подворотнях, столько пуль свистело у меня над ухом, кстати, уж очень противно они свистят, этот мерзкий звук я не забуду до конца своих дней, – столько всего прошло через мои глаза, уши и память, что мне не грех сделать на земле, пока я жив, еще одно важное, касающееся каждого человека дело. Что-то необъяснимое подсказывает мне, что это важное дело я делаю перед еще одной великой войной, и что эта война в мире будет не последней, хотя каждый втайне надеется, когда грохочут танки и рвутся бомбы, что эта-то война уж точно последняя. И что мне надо сделать это дело отнюдь не для собственного удовольствия; и, чтобы вы правильно поняли, отнюдь не в назидание тем, кто придет завтра и будет жить после меня. Тогда зачем же я это дело делаю? Сидел бы себе спокойно у камина в кабинете, грелся у огня, подкладывал в камин сухие дрова, да, у меня есть камин и кабинет, и в нем письменный стол со старинным чернильным прибором и старинной ручкой с вечным стальным пером. Если поднять хрустальную крышечку с чернильницы, чернила мерцают, как темная венозная кровь. Все в мире кровь. Нет в мире ничего, что не было бы жидкой, засохшей, или застывшей кровью.

Мы, все в целом, вся земля, кишащая людьми, еще не достигли такого рубежа, за которым нам всем не захочется больше жить. Многие из нас хотят жить, и еще как пылко хотят! Человек хочет есть, пить и размножаться, да, но это

древние животные инстинкты. Человечек еще хочет верить, и он изобрел Бога для того, чтобы удовлетворить одну из своих базовых потребностей – жить спокойно, зная, что Кто-то о тебе позаботится. А себя убить? Ведь это грех! Страшный грех, по религии Христа! А вот в мире Аллаха самоубийство во имя Аллаха – это счастье и чудо, это великое деяние. Взорвавший себя вместе с кучей неверных возносится в мусульманский рай и пирует на облаках с самим Всемогущим. Вот в какие сказки верят люди, и, между прочим, будут верить во все века. Религию у людей не отнимешь, она как родимое пятно; его можно только срезать, а на месте родинки коварно выбухнет раковая опухоль, и больной народ умрет, царапая родную землю в последних муках. Поэтому не отнимайте Бога у людей. Это чревато последствиями.

У меня хорошо развито воображение, я не раз представлял себе, как я, к примеру, сведу счеты с жизнью. Как быстрее всего и наиболее безболезненно с нею расстаться? Огонь меня не привлекал, смерть в огне казалась мне слишком мучительной и долгой. Лопаются и вытекают глаза, пылают волосы, вся кожа вздувается одним сплошным пузырем, а ты стоишь в огне и орешь недуром, пока не лопнут твои голосовые связки. Нет, это не по мне. Выстрел в висок? Да, может быть, да; но испытать последнюю дикую боль, когда пуля прошивает насквозь твой мозг, это ужасало меня. Яд, кроме цианистого кали, тоже обещал боль; а вот повешение, оно представлялось самым безобидным и соблазнительным. Я

понимал тех, кто удавился, очень хорошо: когда опора исчезает из-под ног, веревка так крепко перехватывает шею, что сразу ломается позвонок, и разум отключается, поскольку доступа крови в мозг уже нет. Тяжел только страх, когда ты взбираешься на табурет. Все остальное много легче. Миг – и ты уже беспомощная, безмозглая кукла Карабаса Барабаса, что качается на тонкой цирковой нити. Тебя раскачивает ветер, сквозняк из окна. Ты окончил бесславную жизнь, слава тебе! Я так часто представлял эту печальную картинку, что однажды мне приснилось, как я взаправду вешаюсь, и я проснулся весь в слезах и в поту, угол моей подушки был изгрызен и влажен, я трясся, будто на морозе продрог до костей, а когда я встал и подошел к зеркалу, я с ужасом увидел на своей шее красный рубец, подозрительно похожий на странгуляционную полосу. Вот так у впечатлительных людей на ладонях и ступнях появляются кровавые стигматы, с беззвучным язвительным смехом подумал я и отпрянул от зеркала, и больше в него в тот день не гляделся.

А какая разница, сам ты себя убьешь, или кто-то тебя убьет? Ну где тут разница, правда? Для меня теперь разницы нет. Чернота небытия, так или иначе, что справа, что слева, что снизу, что сверху, что завтра, что через полвека. Для смерти нет только вчера, все остальное есть.

А когда начнется бойня, – а она начнется, как бы мы ни пытались спрятать от этой ослепительной мысли безмозглую башку в черный песок, – что ты, да, вот ты, будешь делать?

Сохранишь ли человека в себе? Или будешь, как все вокруг, резать, бить, стрелять, рубить? Или же ползти на брюхе, пластаться перед врагом, чтобы помиловал, пощадил?

Я никогда не воевал, но я тысячу раз представлял себе войну. Это было все равно что вообразить себе самоубийство, только в огромных масштабах. Однажды я увидел войну воочию: на Украине. Меня послали туда освещать события; я, атеист, молился всем богам, чтобы выбраться из этой жуткой пороховой, земляной каши целым и невредимым, вовремя унести оттуда ноги. Мировая война закончилась давно, но локальные войны все ползли да ползли, как колючие гусеницы, по всему гнилому земному яблоку, и прекращаться не собирались. Бойня, я так понял, это обыденная особенность человеческой жизни; на бойнях убивают скот, для повседневной пищи, свежуют туши и разделывают их, а человек время от времени устраивает сам себе бойню, добывая на ней человечину, только зря, это никчемное мясо никуда ведь не денешь, не переработаешь ни в какие консервы. Не ужасайтесь моему цинизму, просто подумайте, сколько людских трупов удобряют почву повсюду, от Европы до Китая, от России до Африки. А вы думаете, страны, что никогда не воевали, счастливы? Я сильно сомневаюсь. В мирной прелестной Швеции самый высокий процент самоубийств. Ваша домашняя кошечка не спасет вас от рокового шага. Вы захотите испытать не только мягкую шелковую шерсть под ладонью, но и увидеть наведенный на вас автомат. Тот, кто

не испытал контрасты жизни, тот не жил на земле. Поэтому те люди, кто воевал, хоть и плюют войне в кровавую морду, и проклинают ее, втайне гордятся собой: вот я сражался, и я победил, и я выжил, значит, я настоящий мужчина.

У меня есть мое животное, моя собака, она не породистая, простая дворняга, мой сын нашел ее на свалке; на свалку сын попал вместе с дружками, они, нищие малявки, пытались там найти антиквариат, чтобы отнести в скупку и выручить деньжат на выпивку. Старинных вещиц не нашли, нанюхались гнили, искурили две пачки сигарет и подобрали щенка. Сын гладил щенка и восклицал: моя, моя собачка! да я, да сам, да буду за ней ухаживать! да я сам буду варить ей еду и сам кормить ее, и гулять с ней! Вышло так, что через месяц собака надоела ему, и уход за ней плавно перевалился на меня. Я варю ей похлебку и кашу, выгуливаю ее, она смотрит на меня преданными, ласковыми и честными глазами. Собака, в отличие от человека, не умеет врать. Я смотрю на мое животное, и меня охватывает стыд перед ним. Да, я стыжусь, стоя перед своей собакой, что умильно ластится ко мне, изъявляя мне свою любовь, что я уже не могу любить по-настоящему, веселиться по-настоящему, печалиться по-настоящему; мне все скучно, надо всем я смеюсь, криво ухмыляюсь, мне скучно готовить собаке еду, скучно глядеть на дождливое небо, скучно смотреть в Сети ролики про то, как люди в Сирии, в Париже, в Ницце, в Иране убивают друг друга. Я слишком привык к убийству, и я привык его созер-

цать, и привык равнодушно, холодно и четко писать о нем; для того, чтобы снова начать хоть что-то чувствовать, я должен сам испытать смерть, я должен перестать жить. Но, если я перестану жить, то на этом все и закончится. Закончусь я, и о чем тут еще говорить.

Я наклоняюсь к собаке и глажу ее по рыжей голове. Она искренне, всем собачьим сердцем, любит меня. Я прикидываюсь, что я тоже люблю ее. Я притворяюсь, что я люблю моего сына, и мою жену, стареющую и толстеющую на глазах, и моих друзей, что появляются у меня на пороге с бутылками водки подмышками, с батонами дешевой колбасы в карманах. Я притворяюсь, что хорошо делаю мою работу, принося боссу свежие материалы, четко и грамотно написанные, и притворяюсь, что доволен и рад, когда получаю за эту работу смешные деньги. Перед кем я притворяюсь ночью, когда моя жена, насмотревшись похмельного телевизора, напяливает длинную, в пол, ночную сорочку с кружевами, ложится на толстый бок и засыпает, и зычно, как мужик, храпит рядом со мной? Перед Господом Богом? Но ведь я не верю в Него. Собака спит в прихожей. Сын спит у себя в комнате. Мои книги спят на полках пыльных шкафов. Моя жизнь, не пройдет и десяти-пятнадцати лет, тоже скоро уснет, и никто, слышите, никто не споет ей колыбельную. А я хочу, чтобы мне спели колыбельную! Где эти люди, что рассказывали мне о себе, а я записывал их рассказы за ними, судорожно фиксировал их голоса, понимая, что нет, никого не сберечь,

никого не оставить жить навсегда?

Фильм, книга, картина, симфония – лишь иллюзия бессмертия. Бессмертия нет и не будет, хоть люди и обманывают сами себя, говоря, что постепенно подбираются к нему, и что в двадцать втором веке, а может, в двадцать пятом, ну хорошо, в тридцатом бессмертие будет достигнуто, и всякий его обретет. Как? Заплатив деньги? Просто купив, как куртку в супермаркете? Все живет назначенный срок. Книги перестают быть модными. Старую музыку больше не исполняют. Картины сгорают в пламени случайных или неслучайных пожаров. Старые фильмы не смотрит никто; разве только специалисты по истории кино. Что же бессмертно? А ничего не бессмертно. Умрет все. Тогда зачем же я записываю голоса этих людей, торопясь, записываю их слова за ними, стенографируя чужие жизни на лету, полубессмысленными, нищими каракулями, непонятными символами запечатлевая их смех и слезы, их любовь? Я, который давно забыл, что такое любовь?

Я не верю в Бога, и я не могу молить Его о том, чтобы при моей жизни на земле не случилось большой, всеобщей войны. Маленькие войны, пусть они где-то себе идут. Пусть кто-то там, далеко, умрет, но не я! Однако наш мир меня и тут перехитрил. Расцвел, как борщевик на пустыре, терроризм, и сейчас все орут в один голос, что третья мировая война уже идет, что белым христианам не под силу справиться с черны-

ми мусульманами, и черное знамя Нового Халифата [1] вот-вот всех накроет, как клетку с канарейкой. И канарейка, немного почирикав, жалко и беспомощно, ляжет на пол клетки кверху лапками. И застынет.

Думаете, есть жизнь, и есть смерть? Ничего подобного. Раньше я тоже так думал. Есть нечто третье, не поддающееся описанию, но я постараюсь вам хотя бы дать понять, что это такое. Все состоит из клеток, не правда ли? Вы еще можете уточнить: все состоит из атомов. И даже сами лучше меня расскажете, кто и когда атомы обнаружил. Мы с вами не в средней школе. И то, что я сейчас открою вам, вы ни в каком учебнике не найдете. Если клетки вашей кожи живые, и ваших мышц живые, и вашей крови живые, и вдруг вы умираете, причем умираете не так, чтобы вас взяли да оживили искусные врачи, а насовсем, бесповоротно, то эти ваши клетки, хоть и были минуты назад живыми, перешли вброд через смерть и сейчас уже представляют собой совсем иную материю.

Что это за материя? Есть жизнь. Есть смерть. И есть то, во что материя превращается после смерти. У нее все признаки живой материи: вот клетка, в ней ядро и митохондрии, в ней хромосомы, в хромосомах гены, в генах мельчайшие атомы, все узнаваемо и тысячу раз рассмотрено под микроскопом, но это уже не материя. А что? Какое имя ей дать?

Теперь представьте термоядерный взрыв. Все пылает.

[1] Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

Вместо людских тел – тени на камнях, на руинах домов, на быках горящих мостов. Только тени! Призраки людей. Ядерный взрыв уничтожает все признаки материи. Тень – это не материя. Это видение, фантом. Но проходят года и века. И радиация рассеивается, и камни зарастают черной травой. Теней на камнях уже нет. Но у камня, как и у воды, есть память. Камень запомнил ту материю, что в крике и огне отпечаталась на нем. Он стал ею. Значит, камень теперь носитель жизни.

Вы поняли? Есть только жизнь, и только тени. Смерти нет. Потому что из смерти можно воскресить. Я не Христос, я никогда никого не воскрешал, тем более, мне слабо воскресить самого себя, если меня вдруг убьют. Из теней никогда никого не вытащить. Память хоронит надежно. Памятью, я уже сказал, обладает вся природа: небо, вода, земля, камень. Мозг такой вселенской памятью не обладает, он способен забыть, и забыть все, забыть тотально. Если бы мы не обладали способностью забывать, мы бы все однажды сошли с ума от ужаса.

Воспоминания – хитрое, опасное дело. Я стараюсь ничего не вспоминать, что со мной было. Я этим спасаюсь. Если ты погружаешься в воспоминания, ты можешь не выплыть из этого омута. Поэтому я записываю за людьми их воспоминания; я всего лишь робот, всего лишь вечное перо, что царапает по бумаге, оставляя каракули, в которых чужое наслаждение и чужие мученья; я всего лишь сломанный дик-

тофон, меня починили на время, чтобы дать мне записать еще один этот рассказ, еще этот, вот этот, самый интересный, с массой приключений, с изобилием выстрелов и погонь. Жизнь круче любого детектива. Читать про жизнь всегда интереснее, чем читать фантазии. Поэтому я выбрал мою профессию: она позволяет мне писать о жизни. Моей жизни уже нет, есть только чужие. Я ловлю их уходящее дыхание. Пока они еще дышат, я делаю вежливый и умный вид, сидя около их больничных коек, протягивая диктофон к их искусанным в бреду и боли ртам. Скоро они умрут и превратятся в тени. А за ними уйду и я. Но, пока я здесь, с ними, мое дело просто записать за ними все, что они знают про себя.

У меня, как и у всех людей, мешок всяких болезней. Однажды, когда я готовил репортаж про бои под Дебальцевом, меня настиг осколок, он проколол мне бок и вонзился в легкое. Я света не взвидел. Я уж себя тогда похоронил. Лежал в луже собственной крови и горько плакал о себе любимом. С кровотечением меня вывезли с театра военных действий и отправили на самолете в Москву, в Боткинскую больницу. Там меня срочно прооперировали, и врачи потом мне сказали, еле успели; «еще немного, и мы бы тебя потеряли», – сказал мне усатый доктор, похожий на Сталина. Меня всегда раздражало это выражение – «мы его теряем», «мы ее теряем». Человек не брошка, не брелок с ключами, чтобы его взять и потерять! Человек не вещь. Почему бы просто не сказать: «мы тебя спасли, еще немного, и ты бы умер»? Люди

боятся слова «смерть». Оно для них страшнее атомной бомбы. А вот я думаю о смерти каждый день. Дня не проходит, чтобы я о ней не думал. Причем по несколько раз в день. Так и живу в обнимку с этим древним memento mori. А никуда от этого не деться. И я говорю смерти каждый день: здравствуй, смерть! – и не прячу перед ней лицо в ладони.

После того ранения меня начал мучить кашель, по ночам он становился особенно тягостным. Я обследовался у пульмонолога, и оказалось, что ко мне прицепился туберкулез, открытая форма. Я лечился в противотуберкулезных санаториях, сначала в заснеженных лесах Пскова, старательно нюхая толстые и терпкие иглы пихтовых веток и бултыхаясь в воняющем хлоркой бассейне, потом поехал в Швейцарию, пришлось для этого вояжа заработать изрядно денег. Я заработал их тем, что писал всякие гадости о своей родной стране и публиковал на чужих ядовитых сайтах. И мне хорошо, щедро платили. Опять скажете, я подлец? Я просто спасал свою жизнь. А вы бы свою не спасли от скоротечной чахотки? Да? Нет? Не слышу. Молчите?

Вы думаете, я лжив? Я обманываю? Кого: себя, других? Точно так же, как свободно, не задумываясь особо, обманывают друг друга все люди. Думаете, я тут все приукрашу, в этих чужих рассказах, привру, присочиню для красоты что-нибудь этакое? А вы что, никогда не привирали, никогда не сочиняли небылицы в лицах? Зачем мне врать? Я для этого уже слишком стар. Я устал врать. Врут пусть моло-

дые. А они, кстати, весьма успешно врут. Врут одни, воспевая и прославляя; врут другие, очерняя и шельмуя. Сказать гадость о святом? Да пожалуйста! Выпятить грудь, чтобы видели все мишурные награды? Да сколько угодно! Склониться в лизоблюдском поклоне перед тем, кто богаче и сильнее? Да как делать нечего! «Вы сволочи, сволочи! – кричат людям моей профессии, – вы все гадко врете, и мы не такие, как брешете вы! Мы другие! Мы любим нашу страну и никогда никому ее в обиду не дадим!»

Не давайте, пожимаю я плечами, ведь я-то давно уже не люблю мою страну. Я не буду любить никакую страну, даже если я отсюда уеду. Согласен, это ужасно. Значит, я живу внутри ужаса. Но это уже мои проблемы.

То, что люди наговаривали мне на потроха диктофона, я все равно перенес на бумагу. Мой «Паркер» вволюшку поработал, поскреб по страницам. Я завел себе толстые общие тетрадки и исписывал их мелким почерком канцелярской крысы вдоль и поперек. Часто мне казалось: я сделал ошибку, что решился записать за чужими людьми это все. Что надо писать не о простых людях, а о великих и славных мира сего: о владыках, о знаменитостях, о блестящих королях и принцах, о казненных президентах, об ослепительных кинозвездах и обо всяких подобных персонах. Если ты будешь о них писать, ты прославишься, как они, шептал я себе, и часто охватывало меня искушение, сжечь в моем дивном камине все эти бесполезные писульки, сесть в мягкое мое кресло

и смотреть, как они славно горят. Но я говорил искушению: изыди! – уподобляясь древним святым, в коих ни разу не верил и даже смеялся над ними, и продолжал скрести пером по бумаге, воображая себя, жалкого газетного писаку, Германом Гессе или по меньшей мере Львом Толстым. Трудно, невозможно сказать человеку о человеке! Дрова в камине стреляют. Я вздрагиваю. Я люблю, когда трещат дрова, сгорая, но иногда этот резкий, как выстрел, звук меня пугает. Время от времени я встаю, подхожу к холодильнику, вынимаю из него такую адскую, но смертельно вкусную смесь, это так называемая легочная смесь, коньяк, мед и алоэ в равных пропорциях, это месиво хранится у меня в маленькой изящной баночке, я отвинчиваю крышку, беру золоченую ложку, зачерпываю и отправляю в рот безумную сладость. И чмокаю, и закрываю глаза. Я еще остро ощущаю наслаждение. Ощущаю вкус меда и хорошего коньяка. Я еще верю, что я буду жить, и чахотка отступит. А потом я сгибаюсь, будто у меня переломился хребет, и долго, надсадно кашляю, захлебываясь, постанывая, брызгая слюной с палочками Коха себе в кулак.

А потом я опять сажусь за мой массивный, как у настоящего писателя, письменный стол. И хватаюсь обеими руками за его мощные дубовые края, будто стол это лодка, а я тону. Да я вправду тону! Только в чем? В своем времени, которое я так и не смог записать? И оно наваливается на меня, захлестывает меня, а я барахтаюсь, цепляюсь за борта своей лод-

чонки и бормочу: нет, нет, время, не убивай меня, я успею, я все успею, дай мне срок, еще год, еще месяц, ну еще денек!

Я, поганый журналистик, и вдруг пишу книгу! Уму непостижимо. Я и правда так врал в газетах и журналах всю жизнь, что мне трудно записывать за людьми их правду. Слушайте, вот вы ответьте мне, а сколько правд на свете? Неужели у каждого своя правда? Чудовищно. Сколько же их тогда вообще на земле, этих правд? Неисчислимо? Чушь, абсурд. Однако в каждой шутке есть доля шутки, все остальное правда. Сколько голов, столько умов. Сколько людей, столько правд. Нет и не может быть никакой единой правды. Я столько правд уже видел и слышал, что, если бы я захотел привести их все к общему знаменателю, у меня бы поехал чердак. И столько букв и слов я написал, что ими вполне можно было бы растопить сто, тысячу каминов. Но я писал с холодным сердцем. А сердца людей холодом не растопишь. Им подавай чего погорячее.

Чтобы охладить мой горячий от вереницы мыслей лоб, я опять встаю из-за стола и подхожу к окну. Стекло затянуто узорами мороза. Россия вечно в снегах. Я бы с удовольствием поменял эти кошмарные снега на теплое, как парное молоко, море Гоа или на Бискайский залив цвета темного лазурита. Но мне поздно менять страну. Я в России родился и в России умру, хоть я ее и терпеть не могу, и, честно, свалил бы отсюда при первой возможности. Но я пропустил и первую возможность, и вторую, и третью, и двадцать

третью, я все на свете пропустил, и теперь поздно менять судьбу. Поздно пить боржоми, так сказать. Не помню, откуда эта фраза. А в Сети копаться лень, чтобы выяснить, откуда. И опять родной мороз обнимает меня, и белым полотенцем завешивает окно, как зеркало в доме покойника.

Мы все на самом деле покойники, вдруг пронзает меня смешная и страшная мысль, и я не знаю, смеяться мне или плакать, и я выбираю смех и тихо, коварно смеюсь, как придурок в психушке. Мы все покойники, нынешние или завтрашние, все равно. Внимание всех приковано к Сирии, там решается судьба нефти и чьего-то счастливого победного господства на этом клочке земли. Китай сидит тихо, но ведь это ядерная держава. Индия тоже держит руку на своих ядерных бочках. Соединенные Штаты слишком громко тарахтят о мире и слишком явно наращивают вооружения. А мы? Мы, русские, пересмотрели позиции. Мы пробормотали себе под нос старую пословицу: хочешь мира, готовься к войне, – и стали усердно к ней готовиться. И, надо сказать, хорошо подготовились. Теперь нас голыми руками не возьмешь.

Пугай-то врага пугай, а надо вовремя остановиться. Кто угадает момент, когда страх врага перейдет во внезапную ярость? Если ты близко, покажи, что ты далеко; если ты далеко, покажи, что ты близко, гласит китайская военная доктрина Цзэн-Шу. Все лепечут о том, что третья мировая война уже в разгаре, и это исламские террористы ведут ее повсеместно. Воздух над Землей медленно, но верно накаляется.

Войны ведь рождаются, как люди – их зачинают и вынашивают. А потом роды уже не остановить.

Я безучастно смотрел на кадры теракта в Париже, когда взорвали бомбу на стадионе и расстреливали публику в концертном зале, и ничто во мне не дрогнуло. Я равнодушно смотрел бесконечные видео, где на променаде в Ницце огромная фура давит гуляющих, и отчаянный людской визг поднимается к лохматым пальмам и южным крупным звездам. Сердце мое молчало. Я ко всему этому привык. Рядом со мной жена сокрушалась, доставала платочек и сморкалась в него. Оборачивалась ко мне и зло выпаливала: «Сидишь, ухмыляешься, бесчувственный!» Хорошо еще, она не добавляла «бесчувственный скот» или «бесчувственный дурак». Я не скот и не дурак, я просто давно спокойно смотрю на насильственную смерть. Появление терроризма на нашей планете закономерно. Он возник не сегодня и не вчера. Он просто рос и развивался, как любое явление. А Варфоломеевская ночь разве не была терроризмом? А взрыв кареты царя Александра Второго? А убийство Столыпина? А убийство Кирова? А убийство Джона Кеннеди и Улофа Пальме? Если вы скажете, что это все ислам виноват, позвольте вам не поверить. Быть террористом в свое время было почетно так же, как быть революционером. Они шагали рядом, террор и революция. И даже взявшись за руки.

Моя седая толстая жена сердито спросила меня: «А тебя случайно туда не пошлют?» Куда это, едва оглянулся я

на нее, сидя за столом и пристально рассматривая фарфоровую китайскую чашку с удивительным рисунком: две красавицы стоят на мосту, держат зонтики над головой, а в ручье тонет, захлебывается рыбак, высоко поднимая над водой в одной руке огромную остроносую рыбу, возможно, осетра. Водятся ли осетры в Китае? «Какой ты глупый! Я про Ниццу спрашиваю! Может, от тебя захотят репортаж!» Я улыбнулся: «У редакции сейчас денег нет. Да и я плохо себя чувствую. Какие мне полеты, отлетался». И закашлялся. Я закашлялся нарочно, и жена это поняла. Она презрительно посмотрела на меня, будто я был выловленный в холодном ручье осетр, и меня надлежало разделать, обжарить и подать к столу.

Про Ниццу она спрашивала. Лучше бы она спросила про Ницше. Про Шопенгауэра.

Вот они все знали про смерть; или почти все.

А сейчас? Кто знает все про смерть?

Ведь на самом деле только она и важна; важнее нее ничего нет для бедного человека.

Бедные люди! Бедные, бедные люди! Мне иногда так становится жалко людей, что я готов в голос над ними рыдать. До того, чтобы молиться за человечество, я еще не дошел; и вряд ли когда дойду, я по природе своей скорее жесткий циник, чем восхищенный художник. И потом, не забудьте, я атеист. Я гляжу на всю вакханалию вокруг земных религий и думаю: ну не дурак ли человечек, ломать копья, лишать

жизни из-за такой малости: крещение или намаз, медитация и сандаловая палочка или цицит и тефилим. Боже! Если Ты есть, Ты же ясно видишь: кому арбуз, а кому свиной хрящик!

Но беда-то в том, что Тебя нет, и с этим ничего не поделаешь. Простите великодушно, если оскорбил чувства верующих; нравится вам красивая сказка про Бога, ну и читайте ее на здоровье себе и детям на ночь. Но я вырос из сказок и из детских штанишек. Я видел, как человек убивает человека. Когда это увидишь, сразу с глаз спадает пелена. И с мозгов навек слетает розовая рисовая пудра.

Вот в Америке выбрали люди нового президента. Вот недовольные этим выбором выбегали на улицы, на площади и потрясали кулаками, и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, и вопили, и дергались. А довольные, в свою очередь, собирались, вставали в колонны и маршировали, распевая победные песни, веселясь и попивая пивко из-за пазухи, хоть в Штатах это отнюдь не везде разрешено, пивко на улице при посторонних. И что? Задумайтесь-ка. На действие всегда найдется противодействие. На довольного – недовольный. На мир всегда найдется война, о чем тут говорить.

А тут русский и американский владыки наконец-то поговорили по телефону. Поговорили! Событие для всего мира. Властелины сверхдержав общаются. Беседуют мило, да на ус наматывают. И ведь не скроешь, о чем калякали; все записано, зафиксировано, каждый вздох, каждое молчание. Понят-

но, говорили про борьбу с терроризмом. Сколько все и всего на эту тему говорят! А сколько я сам на эту тему статеек понаписал! Глазом не окинуть. Американский царь настроен воинственно. Террористов – на мыло! Ближний Восток – стереть в порошок! Ну не весь, не весь, конечно. А только этот, проклятый, Новый Халифат.[2] А там, на Востоке-то, только в карту вглядись, мало не покажется. Арабы с евреями передрались. Иран атомом вовсю занимается. В Корее ядерной бомбой, что ни год, все сильнее трясут. А тут еще Украина к картине мира кровавой тряпкой приклеилась; Украина, бельмо на глазу. А вот никто не знает, что, оказывается, Ленин, да, да, самолично Ильич, когда в пломбированном вагоне из Германии в Россию трясся, замышлял отделить Украину от России! И еще как замышлял! И с Троцким этим коварным планом делился! А? Как вам это понравится? Так выходит, наш Ильич был первым сепаратистом? Тогда какого же черта он все равно, кровь из носу, в тысяча девятьсот двадцать втором году взял да возродил империю? Должно быть, земли стало жалко. Жаль ни за понюх табаку землю отдавать. Чем дольше сидишь на троне, тем больше захапать охота. Так всегда и со всеми. Исключений нет.

Владыкам сладкий кусок оттяпать мечтается, и волю свою народам диктовать, и сильнее всех в мире стать, и богаче всех, и славнее всех, и хитрее всех, а народ грезит о чем?

Мир – народам? Земля – крестьянам? Хлеб – голодным?

---

[2] Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

Ой, какие красивые лозунги! Проехало. Давно. Года идут, текут грязными реками у наших ног, мимо наших отчаянных глаз, и, что ни год, то один вопль в воздухе висит: кризис! кризис! кризис! Ощущение, что мы все только и делаем, что живем внутри кризиса. И из него не выбраться.

И этот телефонный разговор двух царей – еще одна иллюзия замирения; еще одна попытка выбраться из ямы; но яма уже вырыта, и вокруг нее мы сами, да, все мы, все до единого, стоим с лопатами, и лопаты в налипшей земле, и мы туда глядим, вниз, в отломы сырой желтой, черной, красной глины. И пахнет оттуда, из глубины – чем? Сыростью. Землей.

Живая она, а мы будем мертвые. И придут другие, и будут судить нас и наши дела. И бросать нас в яму, и даже без гробов. И хоронить нас.

А мы, из ямы, со ртами, забитыми глиной и корнями травы, даже не сможем выкрикнуть им, живым, нашу благодарность. За то, что нас еще помнят, хулят и хвалят. А завтра все равно забудут.

И важный, с надутыми зобами, телефонный разговор двух президентов забудут тоже; на него наслоится множество земель, воздухов, облаков, радиоволн, взрывов и траурных маршей, и детских криков, и звериных визгов, и свежести, и гнили. Надвинутся и закроют от нас самих наше время слои глины и песка, бетона и щебенки. И волны нахлынут, соленые и пресные, и все смоют, зальют. И новая Фукусима взорвется, и новый Чернобыль. Скажете, я пессимист?

А с чего мне быть оптимистом? Люди только притворяются, что они радуются. На самом деле все ежедневно, ежеминутно, ежесекундно помнят о смерти. И это главная наша болезнь; она не лечится никакими тортами с клубникой и киви, никакими бразильскими карнавалами. Она наш диабет, наша чахотка, наш рак и рассеянный склероз.

Вот тут давеча наткнулся в Сети на результаты одного опроса среди россиян. И выходит так, что почти все россияне пуще всего боятся войны. Да, войны! Хотя после Великой Отечественной вон уже сколько лет прошло. А боятся войны новой. Невиданной. Той, что, как корова черным языком, слижет и людишек, и их дома, и всю их великую и неповторимую культуру с поверхности земли, как соль с лотка. Слижет и проглотит. И замычит: еще хочу! А все, уже никого нет. Некого убивать, и некого винить.

Мир лют и зол. Год от года обостряется в мире зло; у меня ощущение, что мир заточен подо зло, чтобы мы все ни на минуту не забывали о том, что насилие рядом. Мы только тешим себя радостями праздников. Новогодний яблочный пирог, рождественский гусь, ах, я так люблю вдыхать аромат лепестков роз, когда они плавают в бокале мартини! Серебряный, золотой дождь на колючих черных ветвях, и гирлянды, и тонкие свечки. Когда на елке горят живые свечи, она напоминает мне внутренность церкви. Я с трудом дышу в церкви, если иногда забредаю туда; я там задыхаюсь. Мне жена однажды напрасно посоветовала: «А ты пойди в храм,

поставь свечку, помолись, а то и исповедайся!» Мне стыдно все это проделывать. Я искренне удивляюсь тем, кто это все делает и не краснеет. Для такого интимного действа в церкви слишком много людей.

Мир жесток и жёсток; и всякий народ в нем хочет быть лучшим и счастливейшим. Для этого он бросается на трибуны и кричит оттуда, сверху, нацистские воззвания; для этого он сражается с народом-соседом; кипя от ненависти, выгоняет со своей земли инородцев; борется за сказочную чистоту своей древней и славной крови; убеждает всех, что только он, единственный и царственный, может править миром. Русские, арабы, евреи, украинцы, поляки, американцы, иранцы, немцы, афганцы, корейцы, китайцы – все втайне мечтают о мировом господстве, и все мирно и ласково улыбаются друг другу, проповедуя мир во всем мире. Ты неонацист? Ксенофоб? Ультраправый? Социалист? Коммунист? Антисемит? Сионист? Мусульманин? Террорист? Нет? А кто ты? Ты сам не знаешь? Плохо. Человек должен знать, кто он.

Если он сам не знает, кто он, его имя назовут другие. И он с себя его, имя это, уже не смоет. Не ототрет никакой мочалкой ни в какой бане.

Мир печален. Он не дает себя приласкать; он не твоя собака, его не погладишь по теплой голове, не заглянешь ему в преданные глаза. Он варится чудовищной горячей, дымной кашей в железном, в каменном горшке, и громадный звезд-

ный половник длинными тоскливыми ночами зачерпывает варево, вылавливает, выскребает со дна кастрюли то ли самую сладкую, то ли горькую гущу. Мы все эта гуща; и я там, внутри, в этой гуще, в этих пригарках, намертво присохших ко ржавому железному дну. Меня уже давно съели, перемололи чужие зубы. А я опять родился. Вам разве незнакомо это гадкое чувство, дежавю? Да, вы правы, лучше его не испытывать никогда. Вот буддисты верят в переселение душ; кто их знает, может, оно и существует. Тогда я после смерти согласен стать чьей-нибудь любимой собакой. Меня будут кормить, ласкать и выводить гулять. И иногда, очень редко, гладя меня по теплой голове, одиноко плакать надо мной.

Мир бессердечен. Иногда я превращаюсь в рентген, это бывает преимущественно ночью, когда семейство оцепенеет и нырнет на грунт, в тяжелый сон, а я не сплю, из меня исходят жесткие гамма-лучи, и я просвечиваю стены, дома, улицы, грудные клетки спящего человечьего стада, и я с ужасом и изумлением вижу: сердец под ребрами нет, нет, нету сердец. Не бьются они, не выплевывают красную густую кровь. А что у людей теперь вместо сердец? Импланты? Давно я видел жуткий фильм, о будущем: там люди наполовину состоят из пластмассы, там пересаживают искусственную печень, и она похожа на дрожащую мясную черепаху без панциря; там в прозрачной стеклянной сердечной сумке перевиваются и вздрагивают синие и красные кровеносные сосуды. Чушь, конечно! Сказка ложь, да в ней намек. Никакая это не сказ-

ка, если честно; все так и будет. Просто мы сами себе боимся в этом признаться.

Я догадался, эврика! Вместо сердца у нас сейчас мозг. Он-то еще работает. С трудом переворачивает мерзлые комья мыслей. Думать ему становится все тяжелее, потому что правду заслоняет обман, а потом обман оказывается новой правдой, и так до бесконечности; мозг теряет логические связи, мысль рвется, как гнилая нить. А мозг тоже надо кормить. Питать его, насыщать. Его кормежка – правда. А правды-то и нету! Ну вот так, нет теперь ее, и все! И что? Что?

Голодный мозг сжирает сам себя. Он гоняет мысль по кругу, он надевает на мысли о правде тысячи лживых масок. Он дрожит от голода и холода, ему надо согреться и поесть, а вместо теплой шубы ему суют хрустящую вчерашнюю газету, а вместо хлеба – скользкую тюремную кочерыжку. Извольте кушать! И голодный бунтует. Он ногой опрокидывает миску с баландой. Он нарочно раздевается донага и выбегает на мороз: пусть я сдохну, но сдохну по правде! А мороз его не берет, и голод все никак на свалит наземь. И, охваченный последним страхом, человек чувствует, как под его черепом творится адская работа: его мозг сам в себя запускает острые, длинные зубы. И челюсти сжимаются и перемалывают все светлое, святое. И кровь разливается внутри, по твоим горам и пустыням, по пыльному асфальту городов и по безлюдным мертвым снегам. Высший пилотаж самоубийства! Скорая, скорая, ноль три, ноль три! А может,

сто двенадцать! А может, девятьсот одиннадцать? Скоро наступит такое время, что каждый будет жить не под именем, а под шифром. Под парой-тройкой цифр. И у каждого под черепушкой и на кисти руки, где-нибудь под ладьевидной костью, будут мирно спать малюсенькие квадратики из циркония или там из кремния. Значит, верить Писанию? Я думаю, что у древних имелись гениальные догадки насчет нас. А мы вот, тупицы, все никак не можем догадаться, кто придет после нас. И кто за нами вслед идет из сумасшедшей тьмы? А-ха-ха! Да никто не идет. Пустота идет. Пустота.

Пустота с гигантскими, на все небо, распахнутыми крыльями. Лети не хочу. Улетай!

Пустота, ведь она женского рода. Да все, куда ни кинь, бабьего этого вечного рода: пустота, красота, жизнь, смерть, война. Мы живем в мире, где с каждым днем исчезают женщина и жизнь. Ну что толку в том, что я женат? Жена у меня вроде мебели. Нет, я к ней привык, она приносит пользу, она готовит мне обед, и возится с детьми, и подметает пыльный пол, и вытирает тряпкой мои книжные шкафы и мой письменный стол. И я с ней сплю иногда. По привычке. Но беда моя, а может, и не только моя, может, другие мужчины испытывают то же самое, в том, что и другие женщины мне не нравятся. Я их не хочу. При этом я никакой не импотент, с моим маленьким братцем у меня все в порядке. Но я не хочу женщин, как не хотят приевшееся блюдо. Я и мужчин не хочу: я не извращенец. И нельзя сказать, что я вытрепался до нит-

ки или что я стар и дряхл; я еще крепок и резв. А женщины бегут мимо, мимо, и они на меня не глядят, и на мужчин не глядят, и на детей не глядят, они глядят вперед, перед собой, и в будничных глазах у них пустота. Что же такое со мной? Что со всеми нами?

Утрата живого – вот наша корь и сифилис, наша бубонная чума и черная оспа. И, прежде чем утратить живое, мы, мужчины, утратили женщину. Мы потеряли ее; точно так же, как потеряли, загадили, заплевали и убили землю. Женщина зачинала, а мы гнали ее на аборт. Женщина рожала, а мы вытаскивали ее младенца из-под нее и беззастенчиво тащили на смертельные опыты, как безвинного безъязыкого крольчонка. Тогда женщина стала прятаться от нас, мужчин. Она закрывала дверь на ключ и в темноте обнимала не мужчину, а женщину. Она продавала себя в суррогатные матери и, сцепив зубы, вынашивала чужих детей, и жадно глядела на хрустящие бумажки, ей заплаченные за ее тяжелый живот, за ее темную кровь и адские роды. А вы говорите, тайны наслаждения! Святое чудо брака! Уже давно никто ни с кем не обнимается, дрожа от нежности и восторга, под светящейся в ночном мраке иконой; человек все больше становится жестким железным биороботом, но все еще боится себе признаться в этом.

Что же все-таки еще остается у меня, у многих нас – то, что движет нами, движет миром? Неужели деньги? Да, деньги. За ними люди гоняются, их платят за все: за книги

и за статьи, за картошку и кирпич, за нефть и газ, за кружево и грязь, за твой ум, а бывает, и за твою беспробудную глупость; деньги платят за клевету, ложь, наглое вранье, откровенную погань, за тело, за душу, за мясо и уголь, за искусство, что перестало быть искусством и стало дымящимся пожарищем, нет, взорванным храмом; знаете, однажды в детстве мы с мальчишками забежали в разрушенную церковь, там на кирпичной кладке были намалеваны матюги, а пол был загажен так, что мы выбирали место, куда наступить; и это было горе, его мы не понимали тогда, веселились и прыгали, как лягушки, среди дерьма, и это была наша родина, и это была жизнь. И я не могу другой жизни написать, потому что я внутри этой жизни и вырос, а еще я кое-что доподлинно знаю: сейчас платят хорошие деньги за то, чтобы ты изобразил святое – гадким, высокое – низким, чистое – мерзким; и мне именно за такую вот мерзкую, гаденькую книженцию и заплатят деньги, много денег, это рыбка с душком, это тухлое яйцо, что задорого продают в китайском ресторане, – оно лежало закопанным в земле пять лет, а пришел богач, заказал это яйцо, выдержанное, как коньяк, и ему его аккуратно выкопали из земли, и ему поставили на стол, на белоснежную скатерть фарфоровую тарелку, а на ней лежит, катается вонючий желто-зеленый безумный шар, то ли живой, то ли мертвый, и богатый господин берет в руки вилку и нож, широко улыбается, весело щурится и делает вид, что вкуснее этого лакомства нет в подлунном мире.

Нет, вру! Вру и не краснею! Ничегошеньки мне за мою книгу не заплатят. Ни пенса. Ни цента. Ни доллара. И уж тем более ни рубля. За такое не платят; такое даже не печатают; а впрочем, опять вру, сейчас печатают все что угодно, захлопнется дверь – распахнется форточка. Что есть мои записки? Правда? Ложь? Исповедь? Да какая, к черту, исповедь, когда я рассказываю о других людях, не о себе? Вернее, это они рассказывают мне – обо мне. Да, так будет вернее.

Деньги теперь дают за такое хитрое искусство, где убит Бог, да Он уже мертвец; убит автор, ах нет, он еще дергается, еще свивается в кольца червя в последних судорогах; где убита последняя красота и последняя сила, и где наружу из неведомого грязного бункера вылезает то, что еще недавно замалчивалось, о чем люди молчали в тряпочку, прижимая ладонь к мокрым губам: кровь, смерть, гадкий порок, и, главное, самое главное, доказательство, на живых примерах, что не только автор порочен или герой порочен, но и все порочны, все кругом, все люди такие, все подлецы и убийцы, и нечего уже стесняться, и нечего набрасывать на уродливую страшную рожу белое ангельское покрывало. Да что я! Деньги, щедрые и большие, отваливают даже не за искусство; за порнографию, за внутренность нужника, за клозет и клоаку. А зачем, спросите? Слушайте, спросите лучше себя! Значит, на дерьмо есть спрос. Значит, люди сами хотят этого! Мы, мы сами этого хотим, если мы за это платим!

И я, жалкий газетный писака, в дешевом, а бывает так,

что и в дорогом ресторане, и даже не в России, у себя дома, а в другой, странной, экзотической, пряной и самоцветной стране, сгорбившись над уставленным изящными и тонко пахнущими яствами столом, над грациозными вилочками и фарфоровыми соусницами, воображаю, мню себя великим, знаменитым писателем, и гипнотически шепчу себе: да, я знаменит! да, я знаменит! да, мне дорого платят за мои тексты! да, я имею возможность обедать в лучших ресторанах мира! да, я счастлив и славен! да, мое имя гремит на каждом углу, моя рожа глядит с каждого придорожного баннера! да, вот сейчас, именно сейчас, за этим красиво сервированным столом, за этим антрекотом с трюфелями и за бокалом шампанского «Дом Периньон» я задумаю, я придумаю мою единственную, первую и последнюю книгу! но зато такую книгу, в которой будет вся жизнь и правда! вся ложь и боль! вся кровь и любовь! вся… Тут я растерянно беру в правую руку изящный нож, а в левую трехзубую вилку, и начинаю смущенно отрезать от антрекота кусок, а мясо жесткое, страшно, немыслимо жесткое, мясо не режется, тупой нож бесполезно, бессмысленно вонзается в хрящи и жилы, и наконец этот плохо зажаренный жесткий лапоть выскальзывает у меня из-под ножа и летит прочь, летит от меня, над столами и посудой, над головами жующих и пьющих, и шмякается об стену, и падает на паркет, а по обоям сползают жир и подливка. Все, знаменитый писатель удачно пообедал в вашем шикарном ресторане, сколько я должен за испорченные обои?

Сколько я должен за обед? За жизнь?

Да, заказчик мне платит деньги; это в порядке вещей; и я благодарен ему, и я на них живу; а кто мне заплатит за эти мои четыре истории, что я, неведомо зачем, вознамерился записать на досуге? Мало написать книгу, ее еще надо разрекламировать; и это тоже стоит немаленьких денег. У меня их нет. И не будет. А издать ее никто не издаст. Люди любят другое. Люди любят, чтобы любовь и вкусная еда, чтобы дорогая норковая шуба и лимузин, или роллс-ройс, или мерседес. Женщины любят слезливые песенки и перламутровую помаду, мужчины – бандитские фильмы и блесны для рыбалки. И в книжках чтобы было про это: про помаду, про рыбалку, про любовь. Ну, по крайней мере, про яркий карнавал в Рио-де-Жанейро. Голые груди, павлиньи хвосты! Дудки, скрипки, саксофоны! Веселья люди хотят. Даже перед всемирной войной – хотят веселья. И готовы за него дорого платить.

А я, дурак, чуть не плача, все записываю и записываю ужас жизни с ее хриплого голоса, с шума и шороха ее неудержимого потока, с голосов переходящих ее вброд людей, они говорят, бормочут, рыдают и кричат, а я с голоса пишу, эти признания и клятвы, проклятия и манифесты, эти голоса живых людей, пока еще живых.

И они пока еще могут говорить; им пока не отрезали языки и рты не засыпали землей; и я пока еще могу писать, то сидя, скрючившись на табурете, у их коек в походных госпи-

талях, то попивая с ними крепкий кофе на террасе, обвитой виноградом, то глотая вместе с ними спирт из грязной фляги, то в одиночестве, в душной моей спальне, тайком, чуть слышно включая диктофон и горбясь над дубовым старинным столом, и плача, как давно, с детства, не плакал, лицо напрочь залито слезами, мокро, стыдно, горько, а хорошо, да ведь никому и не расскажешь про это, а надо ли?

Что будет с нами завтра? Смогу ли я дописать эту свою книгу, тщательно записать эти несчастные голоса, что то звучат громко и отчаянно и режут мне уши, то теряются вдали и гаснут? Мы живем в прекрасном или в ужасном мире? Это решать вам, каждому из вас. Я для себя уже сделал вывод. С окончанием каждой войны все ждут друг от друга известия о том, что все поумнели, и все всё поняли про войну и смерть, и никакой войны больше не будет никогда. Не будет? Ну вы и шутники, братцы! Не отрекайся ни от сумы, ни от тюрьмы, как у нас говорят, в России. Может, и в Англии есть такая же пословица, может, в Америке и в Китае. И в воюющей Сирии, может, тоже есть. Кто поручится, что война в Сирии – последняя война? Корея показывает всему миру атомные мускулы. Америка играет оружием. Люди возводят военные базы по всей своей бедной планете, не думая о последствиях; вернее, слишком истерично думая о них. Больше спокойствия, люди! Вы слишком боитесь друг друга. Мне ли, малой человечьей букашке, этот ваш страх остановить?

И потом, вы все всегда думали: война – это когда огромные сражения и гигантское поле боя, и бьют орудия, и огонь косит людей, и из брюх налетающих черными тучами самолетов вываливаются бомбы и взрываются недуром. Вы совершенно не были готовы к тому, что война – это когда подкладывают мину под здание кишащего людьми магазина; это когда смертница подрывает себя в аэропорту, унося с собою на тот свет жизни всех пассажиров, что мирно и беспечно ожидают рейса. Это когда плачут после взрыва на веселом восточном рынке искалеченные кудрявые и смуглые дети, протягивая к нам, взрослым, обрубки рук, обрубки ног. Взрослые научились убивать детей; если честно, они особенно этому и не учились, просто детей убивать легче всего, ведь они не ответят тебе ядерным ударом, не бросят на тебя танковую колонну. Взрослые дураки, бесчувственные скоты, научитесь отдавать приказы! Нет, ни один приказ не спасет твое дитя от гибели, если идет война. Не спасет моего сына. Мою собаку. Война – это узаконенное убийство всеми всех. И ничего с этим не поделаешь.

Я пользуюсь моментом, пока в России нет войны. Я с трудом убеждаю себя, что да, нет и не будет. Будет, еще как будет, говорит мне ехидно другой голос, он доносится у меня из подмышки, из-за спины, с потолка. Качается люстра. Огонь в камине становится сначала темно-красным, потом черным, будто горит нефть. Из камина валит густой дым. Я задыхаюсь. Я кашляю уже по правде, без притворства, это

мой обычный кашель, влажный, взахлеб. Я пользуюсь удачным моментом, когда можно врать и тут же говорить правду, когда можно взять под козырек и тут же насмеяться над своим безмозглым командиром. Я всегда работал на чужого дядю. Я всегда подчинялся приказу. Я никогда не воевал, но я мужчина, и, если меня пошлют воевать, я буду воевать. Ой ли? А не трус ли ты? Разве не ты уползал от пуль тогда, в Дебальцево, и хныкал: спасите, помогите! Разве не ты дрожал, как заяц, когда в поезде, что ехал из твоего города в Москву, в вагоне-ресторане взорвали бомбу, и поезд затормозил так страшно, что люди, как фарфор и хрусталь, посыпались с полок, и разбивались в кровь, и кричали, и теряли сознание? А ты, ты сознание не потерял. Ты, валяясь среди обломков и жутких железяк, хватал проводника за полы его форменной куртки: «Помогите, я журналист, высадите меня, вытащите меня отсюда, спасите мне жизнь!» И совал ему в онемелую, в крови, руку бесполезные купюры. Рубли или доллары, какая разница. Может, евро. У меня с собой были наличные деньги. Наличные всегда надо носить с собой в бумажнике. Это твои чаевые в ресторации; твои деньги для проститутки; твое спасение, если тебе надо купить чужую помощь.

В мире покупается все. Война тоже продается и покупается. Так же, как радость и праздник. Война такой же товар, как все остальное. За деньги ты можешь поменяться местами с любым владыкой, с любым царем и генералом. За день-

ги ты можешь купить себе не только свою жизнь и здоровье, но и свою смерть – сладкую эвтаназию еще никто не отменял, она такая же реальность, как выстрел в упор. Почему врача, что совершает эвтаназию, отдают под суд? И судят его, как убийцу? Ведь он совершает благо. Я давно решил: если я буду очень мучиться, погибая от своей чертовой чахотки, я приду к знакомому доктору и куплю у него свою смерть. Безо всякой войны, просто одну маленькую, незаметную среди прочих смертей смертишку. И он сделает мне безболезненный укол. Или даст чудесную таблетку. Или просто успокоит двумя-тремя сонными, нежными словами и нажмет две точки на шее, под ушами. Это уже его дело, выбрать мне вид смерти. Я же заплачу ему. И заплачу хорошо.

Мы все, люди, живем в государствах, а государство это всегда отлаженная чудовищная машина. Гигантская машина, с винтами и шестеренками; кто сунет руку в бешеное движение ее маховиков – вмиг лишится руки. Голову, главное, не суй! А если уж засунул – сразу простись с ней. Главная, самая страшная война – тебя самого с твоей страной. Свою страну надлежит любить и всецело верить ей. И вставать под ее знамена. И верить ей, как верят Богу. Только тогда будет тебе счастье. А так ты рискуешь и правда голову потерять. Не сносить тебе головы, если она у тебя вдруг откроет тайну движения громадных маховиков и рычагов! Тайну эту знают только владыки. Живой винтик не должен ее узнать ни в коем случае. А то ведь что со всеми нами по-

лучилось? Однажды мы восстали против нашей власти, поднялись как один и убили нашего царя. И много десятилетий после этой царской казни по всей нашей земле строились, все строились и строились лагеря смерти. И в эти лагеря, помимо всякой войны, просто так, для того, чтобы убить как можно больше простых людей, шли и шли и шли товарняки, битком людьми набитые, ехали и ехали грузовики с обреченными людьми, тряслись на телегах крестьянские семьи – они все ехали прямо в хищную зимнюю, оскаленную пасть своей смерти. От голода. Холода. Расстрельной пули. И мерзлые трупы бросали в снежных полях, бросали в тайге на съедение зимним голодным зверям; сжигали, как дрова, в диких, до неба, кострах. Вот так, а вы говорите, война.

Миллионы, миллионы – за убитого царя. Вот вам беспощадный расклад истории. Наша Россия вся полна высокой мистики, а вы говорите, пошлый терроризм! Да разве храбрую Россию напугаешь терроризмом? Она смертями сама кого хочешь напугает. Печи Освенцима давно уже переплюнули мощные смертные ледяные бараки Печоры и Колымы. Меня жена однажды спросила: «А если бы тебя послали на войну, ты мог бы там убивать людей?» Я посмотрел на нее, как на дуру. «О чем ты? Конечно, мог бы». Я сказал это и тут же усомнился в себе. В своих способностях убивать. Для убийства надо или верить в идею, или всецело очерстветь душой. Ни в какую идею я не верил. Я спросил себя: а во что же веришь? Или ты ни во что не веришь совсем?

И я, давний записной врун, сам себе честно ответил: да, я не верю ни во что. И считаю это неверие наиболее ценным в жизни. Вы все слепые, а я зряч. Я вижу все. Кто-то же должен все видеть, и добро и зло без прикрас, так, как они есть. Еще я тогда спросил себя: но ведь есть же что-то, что ты хоть чуть-чуть любишь в жизни? Если ты ничего не любишь, зачем же тогда тебе жизнь? Расстанься с ней! Убей себя! И я закрыл себе рот рукой и тихо засмеялся над собой, затрясся в смехе. Больше всего я любил играть на скрипке. Давно, когда я был маленьким, мои покойные родители купили мне крошечную скрипку. Они хотели учить меня играть на скрипке, отвели меня к профессору консерватории, он проверил мой слух и сказал, что у меня абсолютный слух. Потом мне приставили скрипочку к плечу, я прижал к ней подбородок, она блестела как леденец, я захотел поцеловать ее. «Вот так веди по ней смычком, вот так!» – сказал старый белоусый профессор и показал мне, как. Я повел смычком по струнам. Сначала раздался хрип и скрип. Я поморщился. Потом вдруг из-под смычка донесся стон. Потом плач, будто далеко плакал ребенок. Потом живой голос. Скрипка говорила мне о чем-то важном, единственном. Потом опять захрипела. Потом захлебнулась и замолчала. Я опустил смычок, опустил скрипку, крепко держа ее за гриф, и стоял молча, по лбу у меня тек пот, будто я стоял в бане, в парилке. Мне хотелось плакать. И я заплакал. О чем я плакал? Кого, что жалел? Но я понимал, что в моей руке до полу

свисал не резной красивый ящик из драгоценного дерева, а живое существо, со своим голосом, со своей великой жизнью. И не мне была предназначена эта жизнь. Я, малец, тогда вдруг понял, что музыка не для меня, хотя я хочу туда, в нее; и я в первый и последний раз плакал о несбывшемся. О том, чего не будет никогда.

Так горько я больше никогда не плакал.

Я рассказал вам это все не для того, чтобы вы меня пожалели и поахали надо мной. Ах, он врет! Ах, он говорит правду! Вы можете не читать то, что я записал в толстых общих тетрадях. Вы можете не верить ни единому слову из тех, которые я так старательно записывал, что иногда, делая это, чувствовал себя каким-то древним летописцем, или согнувшимся над папирусом евангелистом, или старым монахом под мрачными сводами монастыря, царапающим великие, тайные символы-знаки на тонком телячьем пергаменте. Мне, откровенно говоря, все равно, что вы скажете или подумаете обо всем этом. Я делаю это… а для кого я, в сущности, это делаю? Я делаю это для себя. Для себя, слышите! Я пишу для самого себя, и это только моя музыка. Музыка смерти и может быть только для одного человека, ее очень трудно сыграть так, чтобы было для всех. Потому что смерть у каждого своя, и не каждый пускает в нее, чтобы рассмотреть ее мрачные своды при жизни. Мы все увидим, да, мы все рассмотрим и изучим. Но потом. Когда придет наше время. Наш черед.

Вы спросите, а любил ли я кого когда-нибудь? Те люди, за которыми я записал их рассказы, говорили мне о своей любви. Они были нормальные люди. А я, наверное, не совсем нормален. Я оглядываюсь назад и вижу: я ведь никого не любил, только ту маленькую скрипочку, которая пронзительным, а потом нежным женским голосом спела мне о самом важном, что есть в жизни у человека. Спела и умолкла навсегда. И там, в пустом и холодном консерваторском классе, около черного обшарпанного, исцарапанного когтями времени рояля, вцепляясь холодными пальцами в скрипичный гриф, стоя под строгим взглядом седого усатого профессора, похожего на Альберта Эйнштейна, я, этот маленький зареванный мальчик, что-то такое крупное, кровавое и непостижное понял про весь наш мир, про каждого человека, что заврался и не заврался, что убивал и спасал, что клялся и предавал, что губил и воскрешал, что любил и не любил, а потом опять любил, а потом видел: все, срок, часы тикают, пора собираться, и кое-кто, это люди делают в деревнях, уже покупает себе гроб или сам, если хороший плотник, ладит себе домовину, а кто-то, у кого есть деньги, покупает себе оружие, так, на всякий случай; а кто-то, самый умный и святой, ложится на лавку, укрывается старым овечьим тулупом, закрывает глаза, складывает руки на груди и молится, тихо, постепенно удаляясь от живых в мир иной. Я, мальчонка, утопая в глупых слезах, видел их всех, живущих и умирающих, видел, что они счастливы, потому что любят, а у ме-

ня сейчас отнимут мою любовь, мою единственную любовь, музыку. Я знал, что ее отнимут! Старик профессор подошел ко мне, осторожно вынул скрипку у меня из руки, отогнул от грифа все мои крохотные пальчики, один за другим, они побелели и даже посинели, так крепко я в скрипку вцепился, и тихо сказал моей матери: «Вы же видите, он плачет. Он не хочет на ней учиться. Он не будет учиться. Он не будет скрипачом. Проститесь с этой мечтой. Смиритесь. Скрипку продайте или подарите тому, кто на ней учиться будет. Это же малютка, восьмушка. Она для малышей. Кому-то она будет нужнее, чем вашему мальчику».

И я смотрел, как уносят от меня навсегда мою маленькую скрипку, и слезы лились по моему лицу, я кусал губы и утирался обшлагом серого фланелевого пиджачка. Я хотел бы оказаться внутри нее, моей любимой. Хотел бы стать ею, нежной, маленькой, блестящей, поющей. В тот миг я бы с радостью, с легкостью расстался со своей жизнью, чтобы стать моей скрипкой. С наслаждением отдал бы жизнь за нее. За мою музыку.

Но нет. Не сбылось. Я пережил это детское расставание с мечтой, расставание навек. Я побоялся сказать взрослым о том, что я испытывал на самом деле. И в тот момент я понял, и хорошо понял: бесполезно людям что-то правдивое про себя объяснять. Все равно все тебя поймут по-своему. И, чем больше и яснее, громче ты будешь говорить правду, тем сильнее тебя будут обвинять во лжи. А когда ты будешь

врать напропалую – тебе будут аплодировать, кричать «браво» и восхищаться тобой. Тогда, в тот день, я понял, что жизнь делится на явную и тайную. И они никогда не совпадают. Они совпадают только на войне. Потому что правда убийства и смерти – главная изо всех правд. С ней спорить не может никто. И обозвать ее ложью не может никто. Потому что, глядя своей смерти в лицо, ты смотришь в свое самое безжалостное в мире зеркало.

ПЕРВЫЙ
Allegro con fuoco

Я бы хотел жить иначе. Но я не могу. И я живу так, как могу.

Нет, даже совсем не так, я вам вру. Я живу так, как я не могу. И все-таки живу. Да, так, пожалуй, будет правильнее всего сказать. Я еще могу говорить и думать, сначала думать, а потом говорить. Или не думать, но говорить все равно. Наше время, в котором я не могу жить, но все равно живу, отличается этой особенностью: люди не думают, но говорят. Или не думают, но делают. Лучше всего, конечно, тщательно все обдумать и отлично все сделать.

И молчать об этом.

Вот валяюсь тут, и бывает тяжело молчать. Уж лучше говорить. А говорю, и все, что говорю, кажется ложью, такой стыдной ложью, несмотря на то, что это все чистейшая правда. Когда вечная тьма у тебя под черепушкой, и правда враньем покажется. И это, между прочим, так больно.

Днями, ночами, месяцами поживите-ка, полежите наедине с непрерывной болью, как оно вам покажется? Сдюжите? Или не сдюжите? То-то же. Я сам не знаю, как я терплю. Все жду: настанет миг, и терпеть будет невмоготу. И что я тогда сделаю? А ничего не сделаю. Самое страшное, ничего. Ничего и никогда – самые страшные вещи в мире.

Верующие вон не говорят и не мечутся зря, и не подпрыгивают, и не суетятся. Они просто молятся, и все. Я неверующий, и доволен этим. Жутко я этим доволен. Зачем уж себя-то обманывать всякими там разными придумками; Бог – одна из таких выдумок, подпорок, костылей, а человек все хромает, и этот костыль, Бог, ему ничуть не помогает двигаться вперед. Все торчит на том же самом месте, что и тысячу, и десять, и сто тысяч лет назад. И всё же люди волосатым потным стадом идут, бегут вперед, – и я с ними со всеми. Нас всех на Земле слишком много, чтобы вы еще выслушали тут какого-то меня, пыльную моль, мелкую сошку, железный винтик из железной плоти, а вместо крови у меня, видимо, в жилах уже машинное масло. Смеюсь, кровь у меня настоящая, как у всех людей, и еще как льется. На украинской войне, где я побывал, где я сам захотел побывать, можно даже так сказать, ухитрился побывать, помню, меня впервые ранило. Так, ерунда, легко, царапина; однако меня перевязали, и рука какое-то время поболела, чуть выше локтя. Зацепило, всего лишь. Но я ходил в бинтах, и важный, и гордый, и командир отряда зло и весело процедил, косясь в мою сторону: «Боевое крещение». Зачем я рванул туда, на эту войну? Сам не знаю, поехал, и все. Многие мои друзья из моей партии туда отправились раньше меня, и я им завидовал, белой завистью или черной, не знаю. Я знал одно: мне надо попасть туда и увидеть все своими глазами. Телевизор одно, а живая война – это другое, это круто и серьезно, так я считал. Я помню,

как я мечтал на войну собраться: небрежно кинуть в рюкзак две чистые рубашки, две вяленых рыбы, астраханскую воблу, надо купить этих сухих рыб, скелеты, обтянутые чешуей, у чудовищно тощей старухи на Мытном рынке, – там, на войне, что, мужики пиво не пьют? еще как пьют, еще как! из-под земли пиво выкапывают! под него рыбка хорошо! что еще? а, да, запасные джинсы, поехать в дырявых, это уже давно модно, а я купил дырявые только сейчас, вытянул из отца деньги и с наслаждением, на том же дрянном и безумном, кишащем восточным дядьками рынке, купил. Я жил тогда на деньги отца, и не стеснялся, и не страдал по этому поводу. Многие парни сейчас так живут. Я уже давно не парень, мне под тридцать, я крепкий молодой мужик. Отец иногда подавал голос: «Ты здоровый молодой мужик, и ты из меня жилы тянешь!» Голос был робкий, как у больной собаки. Я усмехался: мели, Емеля, твоя неделя, тянул и буду тянуть. Мне так удобно.

Удобно. Что такое удобство? Что такое удобная жизнь, удобство жить? Я не знаю. Удобно ли дышать? Удобно ли есть, пить? Удобно ли трахаться? Удобно ли убивать? А вот умирать, оно удобно или как? Я видел, как на войне умирают. Ничего в этом возвышенного нет, и сама война – позорное месиво из земли и тел, из крови и земли, из земли и железа, ну еще из слез: я не раз видел, как после атаки мужики плачут, здоровенные молодые мужики. Они плачут оттого, что остались живы, а вокруг них валяются мертвецы. Ко-

гда я увидел в первый раз, как человек, весь в саже и лохмотьях, плачет, – а это было после того, как мы взяли городишко Дебальцево в кольцо, да, там мы сотворили почти сталинградский котел, только без Паулюса и без ободранных солдат вермахта, – я засмеялся, так мне это показалось нелепо и смешно. А меня в плечо толкал мой приятель, Венька Трусов, с такой фамилией только на войне и воевать: эй ты, Фимка, ты что ревешь, ну ты же не корова! Выяснилось, что я не хохотал, а тоже плакал. Наверное, это чисто нервное, так мы там, этими малышовскими позорными слезками, снимали напряг, а то можно было с ума сойти. Танки, грохот, тяжелая артиллерия, залповый огонь. Все не по-детски. И зима, завернули лютые холода, по утрам рассвет заливал голую землю красным молоком, она лежала кверху пузом, голая земля, кверху черным, вдоль и поперек распаханным пузом, и ее черные кишки валялись вперемешку с густой солью снега. Вы не думайте, я красиво могу говорить, я же мечтал быть журналистом, а еще лучше – военным корреспондентом. Правду сказать, меня к войне всегда тянуло, хоть от армии я откосил. Ну, тогда все мои друзья откосили. Мы порезали себе вены, не до конца, а так, чтобы кровь остановилась и шрамы заросли; я даже порезал себе ножом грудь, крест-накрест, ну, чтобы врач поглядел на все мои порезы и спросил строго: ты это что? – а я бы, дурашливо скалясь, ответил: я невменяемый, – и ко мне приклеили бы ярлык психа, и прощай, страшная армия. Мы все боялись, что

нас там не убьют, в этой бездарной армии, даже не убьют, нет: что нас там изнасилуют, по-тюремному – опустят, сделают петухами, и мы будем с готовностью подставлять очко нашим насильникам, тем, кто сильнее нас.

В этой жизни все так: побеждает тот, кто сильнее. Наглее, ухватистее, ловчее, хитрее. Да просто если он амбал, а ты доходяга, тебе несдобровать. Это древний закон жизни, и против него, как против стихии, не попрешь. На Украине, на этой несчастной войне, все так и начиналось: люди восстали, чтобы отнять испоганенную власть, поперли на площадь, на этот кровавый майдан, и стали все громить и жечь, кидали бутылки с коктейлем Молотова, убивали тех, кто эту власть охранял, вышколенных цепных псов, и уже торжествовали: вот сейчас начнется справедливость! – а власть взяли и захапали те, кто оказался сильнее и хитрее. Ну и богаче, конечно. Нищий, бедняк думает всегда: вот он выйдет на майдан, кинет зажигательную смесь в окно дворца – и дворцовые насельники разбегутся, как тараканы! И он, бедняк, войдет во дворец и будет править! Не тут-то было. Поперед него в дверь всегда протиснется богатый. И обернется в дверях, и покажет бедняку язык. А не суйся без спросу. И спасибо за революцию, я-то руки не попачкал, а вот твои по локоть в крови. Ну, иди, срань, отмывайся, если отмоешься.

И все, кто взял власть в Киеве, оказались, как на подбор, богатенькими Буратинами. А беднякам кинули клич: айда, ребята, всеобщая мобилизация! А с кем сражаться? А с рус-

скими, они на востоке восстали, и хотят отломиться от Украины и прилепиться к России! А Россия что? А Россия агрессор, ты что, дурак, не понимаешь! Россия всегда была агрессором, она всегда была хищной зубастой жадиной, она то и дело оттяпывала от других стран куски и к себе приклеивала! И гордилась этим: я – империя! Я – самое крутое в мире царство! Я – союз нерушимый республик свободных! Я после Великой Отечественной пол-Европы по-пластунски пропахала – и себе пол-Европы под красное знамя отпахала! Представляю себе, как ненавидели тогда, в сорок пятом, после капитуляции Германии, Сталина. И не только толстяк Черчилль ненавидел, и не только глядящий в могилу Рузвельт, и не трус Трумэн, что спал и видел швырнуть свежую атомную бомбу на бестолковых самураев: Сталина ненавидели все народы, толпы простых людей, которых вусмерть напугали красным медведем, – вот сейчас медведь навалится и всех сожрет, только косточки захрустят, и утрется лапой, и разляжется на содранных народных шкурах.

Новая украинская власть послала украинцев давить ненавистных русских на своем востоке – а получилось так, что перебила и кучу украинцев, и тех, кто воевал за Киев, и тех, кто воевал за независимый Донецк и свободный Луганск. Я-то приехал воевать за Донбасс, без дураков. А оказалось, что я сам дурак и ни в чем толком не разобрался. Наша партия снарядила на Украину автобус, я туда как-то удачно влез – наш Гауляйтер меня в тот автобус затолкнул в последний момент:

«Фимка будет вам военные очерки писать! И мы на сайте партии будем выкладывать!» Командира наших ополченцев прельстила мысль – иметь в отряде своего военкора. Кстати, хорошо было бы, просто отлично волшебную старухину воблу сгрызть вместе с ним – под военное пиво; его пиво, моя рыба. Но я не успел купить эту тощую тарань на Мытном рынке. Мечты рухнули. Командир даже не спросил, есть ли у меня ноутбук с интернетом, махнул рукой, и я потрясся вместе со всеми на ту полыхающую огнем Украину.

«На Украину» или «в Украину» – а какая, хрен, разница. Каждый говорит, как хочет. Честно сказать, я не шибко грамотный. У меня в школе была по русскому языку тройка. Не твердая: к двойке ближе. Тройку мне натягивали. Я писал так: «карова», «камар», «каза». «Леопард» умудрился однажды написать как «леапарть». Училка хохотала до колик, читая мои сочинения и изложения всему классу, и даже при мне, меня не стеснялась. Класс заходился в грязном хохоте. Я угрюмо глядел на женщину с грязным растрепанным пучком на затылке. Я вообще был угрюмым мальчонкой, молчаливым. А о чем говорить?

Да, в сущности, о чем говорить? Все заранее определено. Мать и отец выродили меня на свет, и я должен был прилично вырастать, потом прилично выучиться, потом работать на приличной работе, потом прилично взрослеть – прилично жениться, родить приличных детей, зарабатывать приличные деньги, прилично детишек вырастить и выучить,

прилично их женить и выдать замуж, прилично понянчиться с внуками, потом прилично состариться и прилично, не уронив чести семьи, сдохнуть, чтобы тебя положили под приличный, качественный, тяжелый чугунный крест и возвели тебе на кладбище приличный мраморный, дорогостоящий, с золотой надписью, памятник. И никто, никто ведь не будет приходить на то приличное кладбище. Никогда. Это я знаю точно. Из моих друзей половина, да что там, больше, может, почти все не ходят на могилы предков. Плевать они хотели. Скелеты лежат в земле и лежат, каши не просят. И ко мне, я знаю точно, никто не придет. Нет, приличная жизнешка эта не для меня. Я как-нибудь по-другому. Я как-нибудь сам. Неприлично.

Мать и отец родили меня, и я должен был прилично повторить не только черты их лиц, но и их приличный жизненный путь. Путь был только у моего отца. И да, мой отец был почти приличным человеком. Говорю «почти», потому что не во всех подробностях знаю его молодую жизнь. Копни любого, и из шкафа вывалится гремящий костями скелет. Путь матери я не знал, потому что я не знал собственную мать. Так бывает. По словам отца, мать подбросила ему новорожденного меня и убежала. С другим мужиком, спросил я? Отец пожал плечами. Я смотрел на его печальную лысину с бордюром жидких сивых волос. Отец молчал, молчал и я. Да, что тут было говорить. И так все было ясно.

Значит, мой отец своего рода герой, если он поднимал ме-

ня один: вскармливал молочком из бутылочки, пеленал, катал в коляске, – взращивал как мог. Помню казенные залы детских садиков – в них стоял всегда почему-то зверский холод, даже летом. Воспитательницы часто наказывали меня: я был непослушен, а значит, уже неприличен. Однажды я набрал в пустую стеклянную банку божьих коровок. Этих божьих коровок в банке копошились десятки, а может, сотни. Я ходил и старательно собирал их с кустов, когда нас, как котят, выбросили из помещения на прогулку. Воспитательша вырвала у меня из рук банку, высыпала божьих коровок на траву и провизжала: «Будешь стоять на крыльце, в наказание!» Она ушла в дом, я наблюдал, как шевелилась ее толстая задница: как холодец. И все ушли вслед за ней, послушно и прилично. Поднялся сильный ветер. Завернул холод. С севера неслись полчища серых туч. Одна туча, помню, проплывала над моей голой головенкой, она была похожа на серый валенок. Из туч в конце концов посыпал снег. Я стоял на крыльце, пока не околел. И тогда я твердой железной болванкой свалился на крыльцо. Ударился головой. Потом ничего не помню. Открыл глаза – а надо мной лицо воспитательши, глаза от страха круглые, она сует мне в губы кружку с горячим чаем и верещит: «Глотни, глотни!» Кружка стукнула горячим железом мне по зубам, стало больно, я хлебнул кипятка, поперхнулся и закашлялся, и выкашлял чай на грудь толстой тетки. Она вытирала чай ладонью и плакала: «Очнулся! Очнулся! Девочки, не надо скорую!» Я то-

же заплакал и сказал: «Наберите мне в банку снова божьих коровок!» Тетка плакала и кивала: «Да, наберу! Да, наберу!»

Никаких божьих коровок она, конечно, никогда не набрала, зато вскоре меня по голове крепко ударила толстой книжкой одна девчонка, и меня увезли в больницу с сотрясением мозга. В больнице я лежал долго, мне показалось, сто лет. Никто не подходил ко мне на протяжении всего дня. Я занимался тем, что оглядывал обшарпанные стены и считал на них грязные пятна: одно пятно, второе, третье, пятое, десятое. Все. Я умел считать только до десяти. Потом начинал сначала. Потом приносили холодный обед. Потом приходила медсестра и делала болезненный укол мне в тощий зад. Ближе к вечеру являлся мрачный доктор и проверял у меня рефлексы: бил под коленки, проводил железкой по голому животу. Я ежился и дергался. Доктор пожимал плечами и молча уходил. Когда меня выписали, отец повел меня есть мороженое на открытую веранду дешевого ресторана. На цементном полу стояли жалкие четырехногие столики, похожие на недокормленных лошадей. Отец заказал нам две порции мороженого. И себе еще стакан темного, как кровь, и, видимо, дешевого вина: оно пахло гнилыми ягодами. Я возил кривой чайной ложкой в креманке, а отец шипел мне в ухо: «Не простудись!» Я глотал нарочно большие ледяные куски, чтобы простудиться. Я не любил, когда мне приказывали. Просили – это еще куда ни шло. Но приказы я никогда не выполнял. А ведь вот война – это так: приказ – исполне-

ние, приказ – исполнение. Самоуправство на войне не проканает, это факт.

Когда отец привел меня домой, я оглядывал наше жилье, будто увидел его впервые. Я увидел, какое все тут крошечное, мышиное, тараканье. Здесь могли бы с удовольствием жить божьи коровки, но не человеческое семейство. Одна комнатенка, рядом маленькая, как спичечный коробок, кухня. На кухне на стене висела замызганная фотография – портрет кота. Котячья полосатая рожа, казалось, улыбалась. Смеялась над нами. Я не спрашивал отца, что это за кот такой. Я думал, что у отца когда-то был кот, и он умер, и это его портрет. К животным люди привязываются чаще, чем к сородичам. Животное бессловесно, оно тебя никогда не обидит, не оскорбит, не унизит. Единственное, чем может зверь человеку насолить, это укусить.

Еще в нашем жилище имелся балкон, и я всегда боялся на него выходить – боялся, что арматура подломится, бетон отвалится, и я упаду вместе с бетонной плитой и стальной решеткой, и костей не соберешь. Отец развешивал на балконе белье. Семейные трусы, широкие, как черный пиратский парус. Однажды трусы с веревки сорвал ветер, и они летели по ветру, как черный коршун, а внизу, далеко, беззубо смеялись подъездные старухи. Я ненавидел старух, и вообще ненавидел старость. Поклялся себе, что я до старости никогда не доживу. Мне казалось, это ниже человеческого достоинства – разевать рот, глотая пищу с ложки, что раз-

драженно всовывают тебе в рот, и давать в туалете расстегивать свои вонючие портки чужим жестким, жестоким рукам. Мир жесток, и в нем старость всего жесточе. Я с удовольствием думал, как классно умереть молодым. Однако когда там, на этой гадкой украинской войне, вокруг меня свистели пули, умирать я совсем не хотел. Более того: я дико хотел жить. Жизнь казалась мне слаще всех сладостей на свете. Слаще любого детского мороженого.

Так вот, балкон. Настал день, когда я с этого балкона навернулся. И, представьте себе, и не разбился, и ничего не сломал, и остался целенький, как хрустальный графин за стеклом старинной горки. Это мы играли у нас дома с соседскими девчонками в любовь. Девчонки снимали трусы, ложились на отцовскую кровать, и я взбирался на них, тоже стаскивал штанишки и терся об их голые нежные животики своим животом. Потом девчонки раскидывали в стороны голые ноги – рожали. Я, врач, принимал роды, высоко поднимая над их голыми животами и невинными пупочками, похожими на круглые жемчужины, голого целлулоидного куклёнка. Девчонки пеленали холодную гладкую куклу, раскачивали на руках, пели ей колыбельную и давали грудь – маленький прыщик, сняв штапельный лифчик. По комнате везде были разбросаны трусы, лифчики, чулки. Мы хохотали, стонали, изображая любовь, девчонки орали благим матом, имитируя роды. Соседи разъяренно стучали нам в стену: прекратите безобразие! Взрослая жизнь казалась нам несбы-

точной. Нам казалось, мы ее никогда не проживем. И надо торопиться. Успеть хотя бы притвориться, что мы ею уже жили. Потом девчонки закричали: а давай ты будешь летчиком! Одна крикнула: нет, лучше парашютистом! Я, как под гипнозом, смело вышел на балкон. Не знаю, что тогда на меня нашло, но я без страха взобрался на балконные перила. Все моталось, как в тумане, как на экране плохого телевизора. Я раскинул руки и прыгнул вниз. До сих пор сам не понимаю, зачем, для чего я это сделал. Чтобы выглядеть в глазах девчонок героем? Но ведь у меня не было парашюта, и они там, вверху, на балконе, истошно вопили, но было уже поздно. Я летел в небе, а грянулся о землю.

Опять темнота, провал. Опять больничные стены, на сей раз кафельные. Меня вертят и щупают доктора. Над моей головой голоса: «Вы подумайте, ничего! Ни царапины! Отделался легким испугом! Нет, вот царапины, и уже синяки! А сотрясение? Где сотрясение?» Я улыбнулся врачам, и тут меня шатнуло вбок и стало люто рвать, прямо на колени этих приличных докторов в чистеньких белых халатах. Мне вытерли рот, вымыли лицо и на носилках отнесли в палату. Пятен на чистых кафельных стенах не было, и нечего было считать, нечем развлекаться. Чтобы развлечься, я пел песни. Пел то, что слышал по радио и по телевизору. Соседи по палате смеялись и просили: «Давай еще, Карузо!»

На войне я не пел. Не до песен было. Как песня, звучали названия этих хохлацких городишек, станиц, поселков:

Дебальцево, Попасная, Санжаровка, Чернухино, Троицкая, Редкодуб, Ольховатка. Только Углегорск мне не нравился. Углегорск, это звучало как-то уныло, грозно и черно. Вся Украина той зимой казалась мне черной и белой. Черно-белой. Черная сажа на белой коже солдат. Белый, а потом грязный снег на черной земле. Снег тщетно пытался укрыть безобразия людей от их же собственных глаз. Я никогда не был никаким философом, я вообще старался думать очень мало, я любил отключать свой мозг от проблем, но тут я думал печально и напряженно: настанет на земле такой миг, когда безмолвный снег возьмет да и укроет навек все наши бесчинства. Все наши ржавые железяки, кровавые лохмотья, все наши танки, зенитки и винтовки. И воевать будет нечем, а главное, воевать будет некому. Потому что снег нас тоже терпеливо укроет. Дай-то Бог, сказал бы умоленный кто-нибудь; да вот беда, я уж сказал, я в Бога не верю, в эти старые добрые сказки.

Так вот. Когда я упал с балкона, отец, видимо, счел, что хватит ему меня пасти в одиночку, нужны женский глаз и женская рука. Отец мой не имел успеха у женщин – я это видел и с возрастом хорошо понимал. У нас дома никогда никакая бабенка не появлялась, даже крашеная кудрявая соседка, старая обезьяна, приходившая занять до зарплаты головку лука или сырое яйцо, скромно топталась на пороге. И сам отец никогда и никуда не отлучался на ночь. Как он жил – не могу понять. Ведь мужчина не может без женщи-

ны. Занимался рукоблудством? Вполне возможно. За этим тайным занятием я не подлавливал его никогда. Но, когда я выписался из больницы, и мой мозг, сотрясшийся при падении с четвертого этажа, пришел в норму, меня уже не тошнило и не рвало, и я четко различал буквы на таблице, когда проверяли зрение: «ШБ, МНК, ЫМБШ, БЫНКМ…» – я с изумлением обнаружил в нашей квартире женщину. Отец смущенно зыркнул узкими, татарскими глазами в мою сторону и промямлил: «Фимка, это твоя новая мама. Люби ее и слушайся ее».

Женщина равнодушно оглядела меня с головы до ног и продолжила делать то, что она делала. Она развешивала мокрое белье на балконной веревке. У нее были голые до плеч руки, цветастый халат разлетался на сквозняке, под ним обнаруживалось круглое, плотное, квадратное тело, а из-под халата торчали гладкие короткие ноги-кегли. «Это не мама, это чужая тетя», – отчетливо сказал я. Позже я узнал, что такая новоприбывшая женщина называется мачехой. Мачеха – это больше подходило ей; слово словно вынули из пропахшего нафталином старого шкафа, встряхнули, и оно распушилось, роняя на пол траченную молью мохнатую шерсть.

Эта самая мачеха даже не пыталась меня воспитывать. Я ей был нужен меньше всего. Ей был нужен отец – он добывал деньги, чтобы есть и пить; ей было нужно замужество – она гордо задирала нос перед соседками, когда направлялась

в магазин, на рынок или в химчистку: в подъезде было полно одиноких баб. Иногда ей были нужны шуба, пальто, новое платье, новые аляповатые бусы, новые модные сапоги. Сапоги не налезали на ее живые кегли. Она плевалась и тихо, шепотом, материлась. Я слушал бранные слова, вылетавшие из ее толстых губ, и представлял себе, как она этими самыми губами целует отца. Если целует. А может, и не целует никогда. Это, кстати, было бы лучше всего. Если бы меня поцеловала такая баба, меня бы вывернуло наизнанку. Я рос и рос, вытягивался в вышину, но оставался все такой же тощий и тщедушный, как в детстве; я попробовал курить – мне понравилось, попробовал, на задах двора, за серыми сараями и ржавыми гаражами, пить с пацанами – и опять мне понравилось: понравилось, как водка горячо льется, проливается в жадно, со страхом расширенное горло, как осторожно скользит, потом грозно ухает вниз, в желудок, а потом взрывает башку – и разносит ее в щепки. Вино действовало похоже, да не совсем. С вина развозило медленнее, хотя и вернее. Водочное опьянение быстро проходило, винное – держалось долго, потом во рту сутки стоял отвратительный кислый перегар.

На сигареты требовались деньги. На вино и водку требовались деньги. На закуску требовались деньги. На девочек требовались деньги. Деньги требовались везде, где они требовались. Я занимал деньги у заключенных с соседней улицы – они копали траншеи, чтобы провести газовые трубы. Заклю-

ченные были бритые, щеки асфальтово серые, губы синие и злые, у многих во рту недоставало зубов. Страшно к ним было подойти только в первый раз. Я попросил у них денег жалким, блеющим голосом. «Скоро верну, скоро верну! – передразнил меня бритый, с медным крестиком в яремной ямке; темя синее, щеки синие, красный язык смеется и дергается в беззубом рту. – Так мы тебе и поверили!» Его напарник, высокий сивый старик, протянул мне мелочь на ладони. Тряхануул, и мелочь зазвенела. «Бери, парнишка. Моряк ребенка не обидит». Я взял, растерялся, не сказал спасибо, зажал мелочь в кулаке, повернулся и побежал.

На эти невольничьи гроши я купил себе разные чудеса: сигареты, пирожок с повидлом, в котором вязли зубы, и коробок спичек. Долг надо было отдавать. Оставался отец, больше никто не оставался. Я пробовал просить деньги у мачехи – она посылала меня куда подальше. Я дождался, когда отец явится с работы, подошел к нему. Мне было очень тяжело просить, почти невозможно, и я все-таки попросил. Просьба вышла похожей на приказ. Трудно только в первый раз. Потом будет все легче и легче. А потом вообще обнаглеешь, освободишься от последних примет жалости, трусости и смущенья. «Папа, дай денег! Мне нужно!» – «Сколько тебе нужно?» Я судорожно смекал: чем больше, тем лучше.

Я сказал, сколько. Отец сморщился и полез в карман. В его руках зашуршали бумажки. По его лбу бежали кривые морщины, и губы кривились. «Зачем тебе столько?» – спро-

сил он. Я пожал плечами. «На дело». – «На какое такое дело?» Я молчал. Потом выцедил: «Сказал, на дело, значит, на дело». Отец вздохнул тяжело и прерывисто, будто долго плакал, и в груди у него после слез воздуха не хватало. «Держи», – он протянул мне бумажки. Я сунул их в карман, сжимал там, внутри, в темноте и потном тепле, и чувствовал, как они тепло, радостно хрустят – свеженькие, трудовые.

И я тогда живо и навсегда понял: как хорошо и легко взять деньги без труда. Взять то, что ты не заработал.

Я же говорю, трудно только впервые. Потом катишься, как по маслу. Я потрошил отца уже умело и хитро. Быть хитрым, это же значит – быть умным. Ум и хитрость – близнецы-братья. Я отлично понял: деньги, вот они, рядом. Чужой карман – это твой карман, он ничем не отличается от твоего. Жри, грызи чужую жизнь, на твой век хватит. Деньги – это жизнь. Это моя жизнь. И, чтобы жить, я должен брать чужие деньги. Обирать отца. Я этого не стесняюсь, нисколько. Ведь когда яблоня или слива покроется плодами, ее же обирают? Вот и я делал это. По крайней мере, мне не надо было искать работу. Работа вызывала у меня отвращение.

Я тогда был еще ребенок, но из ребенка быстро сделался взрослым: с виду мальчишка, а на деле взрослый, хитрый человечек, я все прекрасно соображал, что к чему, умел подладиться к людям и поладить с ними, умел краснеть и смущаться, когда надо, и переть злым тараном, умел вежливо сгибаться и даже сюсюкать, особенно с девушками, и умел

сурово молчать – с парнями, играя в бывалого сурового парня. Так я взрослел. Скажете, я подлец? Но тогда таких, как я, подлецов у нас пол-страны. Пол-страны не работает; пол-страны вытрясает деньги из родных и близких; пол-страны не живет, а существует, хотя ей и кажется, что она живет. А может, так живет вся страна. А может, так живет вся земля. Чем мы, Россия, отличаемся от Индии? От Австралии? От Америки? Да ничем. Говорим на другом языке. А так оно все одно и то же: деньги, траханье, обман, драки, пьянство, похмелье, нищета, богатство, это значит, снова и везде и опять деньги, власть свалить, власть взять, а потом старость и смерть, и привет. И хорошо еще, если старость и смерть. Нас убивают на каждом шагу, а мы еще и жизни не узнали.

Игры в семью и роды с малявками закончились. Я рано стал мужчиной. В тринадцать лет, с соседской девицей, она уже училась в университете, курила и пила, и в ванной у нее была мощная серебряная пепельница, там валялись тонкие окурки, испачканные губной помадой. Она зазвала меня к себе, когда ее родителей не было дома. Сама зазвала, я к ней не набивался. Мы переспали на широком, как плот, диване. Диван жутко скрипел. Когда она узнала, сколько мне лет, она сказала: «Я думала, ты старше. Ты так все умеешь». Я пошел в ванную, взял из пепельницы ее красный окурок, прикурил, курил и плакал. Мне было больно и хорошо. Больно и светло. Она еще пару раз затаскивала меня

на свой скрипучий диван, я приходил, все повторялось, но я уже видел ее толстые ляжки, ее висячие груди, чуял, как кисло пахнет у нее из подмышек, и мне было противно и жалко ее, и она понимала, что эта история скоро закончится. Она закончилась, когда в разгар наших игр внезапно нагрянули ее родители. Ее батька орал на весь дом: «Убью сучонка!» – это меня, значит. Я судорожно натягивал штаны. Потом у меня были еще всякие свидания с разными девушками. Я сейчас не помню их имен и их самих. У них у всех были похожие животы и похожий мокрый жар между раскинутых ног. По сути, они ничем не отличались друг от друга.

Это придорожное кафе я бы тоже нипочем не запомнил, если бы не одна, связанная с этой вшивой забегаловкой история. Я выпил немного в компании друзей – я держал этих парней за друзей, и они меня за своего друга, должно быть, тоже, – но я прекрасно понимал: дружба – такой же обман, как и все остальное, а я им был нужен, потому что они хотели заграбастать меня в свой круг. Завербовать, одним словом. Их круг назывался – партия, так я начал играть в политику. Политика, ведь это тоже обман, зато тех, кто в нее играет, уважают и боятся. А те, кто пролезает на самый верх политики, уже могут распоряжаться деньгами, большими деньгами. Большие деньги меня не прельщали. Меня манили идеи. Идея этой партии звучала так: грабь награбленное! Мы хотели обчистить всех богатых и раздать их деньги всем бедным.

Нам казалось это очень благородным. Мы чувствовали себя спасителями страны. Мы пили дрянь и закусывали дерьмом, но мы воображали, что пьем арманьяк и закусываем осетриной.

Тогда я выпил с ребятишками, они были такие смешные, мои ребятишки. Один из них был слишком тощий, такой тощий, что его можно было перешибить соплей; другой такой толстый, что становилось страшно: как же он ходит, а если сядет, сломается ли под ним диван? Был и еще один, мы звали его Гауляйтер. Он и был у нас гауляйтер. Звания в нашей партии мы давали, как в вермахте. Это было стильно и романтично. Набивали на плечах, спинах, лопатках и задах кельтские кресты и фашистские свастики. Стукали стаканами о стаканы, вопили радостно: «Россия для русских!» – и себе не верили. Мы звали себя русскими нацистами, но, может быть, мы уже были кем-то другими, не знаю. Гауляйтер был серый как мышь и абсолютно незаметный. Как асфальт, хоть ходи по нему. Мы пили сначала пиво, потом водку, ведь известно: пиво без водки – деньги на ветер. Я вынул деньги из отца, Тонкий настрелял у корешей, Толстый не знаю где взял, может, украл, а может, заработал – он иной раз помогал разгружать овощи или подметал идиотской, как гигантский осьминог, шваброй ближний SPAR, – и купили самого дешевого пива и самой дешевой водки. Желудки и печень мы себе портили, конечно, по полной программе, но нам было наплевать; нам уже на многое было то-

гда плевать, мы все слишком рано стали всё презирать и надо всем потешаться. В мире не было ничего серьезного, того, что заслуживало бы подлинного внимания. Может быть, только война.

А вокруг нас, как назло, стоял мир, и мы ненавидели его, как ненавидят стоячую воду.

Нас называли дураками, идиотами, сволочами, тунеядцами, бездельниками, дрянями, гадами, хитрецами, охламонами, лодырями, остолопами, ворами, наглецами и прочими счастливыми и изящными прозвищами, которых так много в любом языке мира, не только в русском, а еще нас называли потерянным поколением, и это роковое двусловье нравилось нам больше всего: оно всего точнее отражало наше состояние, и мы были готовы себя совсем, окончательно потерять.

Так я о другом. Об этой кафешке на обочине гудящего серого шоссе, знаете, такой приземистый одноэтажный домишко на краю большой дороги, мимо мчатся фуры, дальнобойщики иногда тормозят, рядом маленький мотельчик, он же бордельчик – придорожным проституткам влом стоять в бензинной вони, они предпочитают прятаться в тепле под крышей. И кусать скользкий банан голодными веселыми зубами. Мы выпили, не сказать чтобы напились, но хорошо накачались и развеселились; потом Толстый оторвался от нас и, кажется, побрел домой, к маме, Тонкий куда-то делся, шатнулся вбок и ввалился в открытую дверь, а что было за дверью, разве я помню; меня под локоть держал

Гауляйтер, и у него на кошачьей роже было ясно написано: а не продолжить ли нам? Он был постарше, и из него хмель выветривался быстрее. Я демонстративно вывернул карманы. Гауляйтер помахал перед моим носом рыжей мятой бумажкой. «Гуляем!» – прохрипел он радостно. У меня на груди, под кожаной курткой, в кармане рубахи, тоже была заткнута цветная бумажка. Но я эти деньги утаил от Гауляйтера. Я просто хотел на них от пуза пожрать. А Гауляйтер будто услышал, как у меня в животе голодно бурчит, расхохотался и бросил мне покровительственно: «Идем, я тебя накормлю, и еще вмажем!» Ноги вынесли нас на шоссе, поблизости маячил овраг, на его сыром грязном дне лежала труба теплоцентрали, туда свободно можно было зайти человеку и выпрямиться в рост. Гауляйтер хохотнул: «Вот в таких трубах запросто можно изнасиловать девчонку. И задушить! И никто не найдет». Я пожал плечами: «Собаки найдут, съедят. И вонять будет. Глупо». – «Жизнь, Фимка, вообще глупая штука, ты знаешь об этом?»

Гауляйтер показал мне на забегаловку: «Вот, кажись, жральня». Мы, заплетая ногами, подбрели и вошли в тепло. Пахло чебуреками, харчо и пивом. Джентльменский набор этих тошнотворных притонов, притворяющихся ресторанами. И все же запах еды лез в ноздри и дразнил. Я уже выцепил глазом в полутьме и табачном дыму свободный столик, как тут случилось непредвиденное: Гауляйтер подрался. К нему подвалили двое дюжих дальнобойщиков, в ды-

мину пьяных, один из них, краснорожий, бойко развернулся и загвоздил Гауляйтеру в скулу. По-моему, они его с кем-то перепутали, ну с кем не бывает. Полумрак, алкоголь, табак, неотомщенное зло. А может, им просто не понравилась харя Гауляйтера, кто знает. Я отступил. Наблюдал. Гауляйтера били по лицу, в грудь и в живот. Он упал очень быстро, даже не надо было стараться. Краснорожий охаживал его башмаками. Башмаки были в грязи, а на улице был ноябрь. Сладкий ноябрь, грязь липкая, как мед. И холод, как в январе. В такую погодку только пить и пить. Официантка заорала, за столами засвистели, но никто, слышите, никто не приподнял зад, чтобы ввалиться в эту кашу, в драку. Деритесь, мол, сами, сколько душеньке угодно.

И я не встревал. Глядел. Меня тошнило, и мне было беспричинно весело. Я видел, как Гауляйтера за ноги выволакивают из кафе на воздух, и, может, там, на улице, его положили мордой в снег, и он через какое-то время очухался. Я не боялся, что нападут на меня. Хотя мысли бились красными флажками: если шагнут… если замахнутся… если… если… А что «если», я не знал. Но краснорожий выкатился на улицу, на ходу заталкивая в рот сигарету; за ним семенил его пьяный дружок. У них обоих руки были в крови Гауляйтера. Я жадно глядел на стол, а сил не было до него добрести. Силы мои кончались, мне хотелось лечь на пол, подложить ладони под щеку, сладко почмокать и уснуть. Уснуть. И спать долго, долго, всю жизнь, вечность. И пусть бы этот

пьяный сон перешел в смерть, мне не жалко.

И тут появилась официантша. Я не знал, молода она, или стара, красива, уродлива, добра, зла, я не видел ничего, мне жутко хотелось спать. Я чувствовал, как меня ведут чьи-то сильные, крепкие руки, почти мужские. А вдруг это мужик в юбке? Я хотел рассмеяться, у меня не получилось. Вокруг меня стало хорошо, тонко пахнуть подснежниками; знаете, такими синими, пушистыми, их еще старухи называют сонтравой. Это были ее духи. Они обволокли меня. Чужие руки довели меня до стола, чужие ноги подтолкнули мне под колени стул. Я на него рухнул. Чужая женщина села напротив меня и спросила меня скучно и тускло: «Хочешь жрать? Или лучше попить притащить?»

Я выдавил: «Лучше чаю, горячего, и с лимоном, если есть». Официантша улыбнулась углом крупного красивого рта. Исчезла, и целый век ее не было. Я за этот век успел откинуться на спинку стула и вздремнуть. Стало легче. Блевать уже не тянуло. Я открыл глаза – она опять сидела напротив, и по гладкому столу двигала ко мне тарелки и чашки – так толкают санки с горы. Я испугался, что вся еда и весь этот чай с лимоном сейчас выльются мне на штаны. «Ты пей, а потом все равно поешь, – так же невыразительно, голосом ровным как доска, сказала она, – я же вижу, ты голодный». Как она это видела? Почему они это видели все? Я же не жаловался никому. Я смотрел на ее грудь под кружевами фартука, и с трудом соображал, что грудь – да, красивая. По-

том перевел взгляд на ее ноги, на коленки в сетчатых колготах, кругло и сдобно торчащие из-под короткой юбчонки, и тут она засмеялась и постаралась натянуть юбку на колени, и у нее не получилось. «Ешь, ешь!» – кивала она на еду, и я ел. Странно, я очень быстро трезвел. Может, она в чай чего-то подмешала ободряющего, не знаю. Может, это был какой-нибудь чертов тибетский чай, только я трезвел на глазах и все уже очень хорошо и четко соображал. Я видел, что эта девка положила на меня глаз. Плотно так положила, крепко. Когда я ел, она положила руку мне на ногу, под столом. И крепко сжала мое колено, я чуть не вскрикнул. И снова смеялась она. Я вынужден был смеяться вместе с ней. Над собой.

Да, точно, она была вся вкусная, аппетитная, талия, грудь, ножонки, все на месте. Я удивлялся, что она такого нашла в юном пьянице, в пошлом, нищем цыпленке. Моя старая, с рук купленная черная косуха расстегнулась, рубаха расстегнулась тоже, будто сама собой, и официантша смотрела мне туда, где у верующих людей мотается крест. Я ковырял вилкой в жареной картошке, казенную котлету я уже умял. Эта девка в кружевном фартучке подмигнула мне: «Ну все, перекусил? Как оно?» Меня обдало жаром. Деньги! Надо платить. За все надо платить. Я смешливо думал: а если мы переспим, то чем я ей заплачу, если я ей сейчас все деньги отдам? Суп, салат, котлета, чай… в чае – лимон… Чепуха какая, думал я, пока мои пальцы сами крючились и ковыря-

лись в кармане рубахи, а где же деньги?

«Кажется, я деньги потерял, – прогудел я глупо, – извините!» Она пожала плечами, встала, протянула руку и взяла меня за руку крепкой, жаркой и потной, мокрой рукой, как нашалившего ребенка. Взяла и вытянула из-за стола. И, пока мы шли, – а куда шли? я ничего тогда не соображал, – я слышал, как ее голос холодным бледным снегом вился надо мной: «Деньги потерял? Это плевать. На все плевать, ты знаешь об этом? Деньги, это же бумажки. Они ненастоящие. Еда настоящая. Снег настоящий. Огонь настоящий. Кровь настоящая. Сигарета настоящая. Жизнь, смерть – все настоящее. А деньги? Ненастоящие. Их нет. Как можно жалеть о том, чего нет?»

Я послушно шел за ней, перебирал ногами. Я превратился в ребенка, и это было так сладко и позорно. А впрочем, что тут позорного – все мы дети, все мы хотим играть, веселиться, есть вкуснятину, лениться, ничего не делать, болеть в свое удовольствие, и чтобы в постель нам приносили куриный бульончик с белым куриным мясом, куриную котлетку, бутерброд с влажным ноздрястым сыром и пушистый персик, а еще мед в розеточке, а еще варенье. Какое тебе, сыночек? Сливовое? Яблочное? А может, варенье из тыквы с лимоном? Моя мачеха варила отцу варенье из тыквы с лимоном. Сначала она крошила огромным тесаком тыкву, потом проворачивала через мясорубку лимон. И почему-то при этом плакала, будто она режет лук. Однажды она оттяпа-

ла тесаком себе полпальца. Палец сросся, мачеха обидчиво носила забинтованную руку перед собой и нянчила ее, как младенца.

Ребенка тащили по коридору, и он не упирался. Ребенку бормотали что-то ласковое, утешительное. Ребенка осторожно ввели в темную, без единого огня, комнату, и аромат дешевых духов усилился. Женщина открыла окно, в комнату с улицы полетел снег. Я понимал – сейчас мы оба окажемся в постели, и уже искал, где тут постель, но постели не было. На полу валялся грязный, полосатый, в пятнах старой коричневой бабьей крови, матрац. Мою руку выпустили, и скрипнула дверца шкафа. Чистая простыня взлетела и громадной птицей приземлилась перед нами. Мне стало холодно, зуб на зуб не попадал. Женщина толкнула меня кулаком в спину, и я полетел носом вперед, колени мои подогнулись, я свалился на матрац. Она, за моей спиной, ухитрилась быстро раздеться и уже стояла голая и опять смеялась. Я озлился. «Я для тебя развлечение, сука, да?! – кричал я, голый, сидя на поганом матраце и жалко согнув в коленях замерзшие ноги. – Игрушка, ё! Игрушечка! Курица жареная, да?!» Черт знает что я выкрикивал. Она села рядом с мной. Обняла меня за плечо, будто бы я был не ее будущий, на пару часов, безымянный хахаль, а просто хороший старый друг. Отвернув лицо, она тихо сказала: «Знаешь, парень, да я бы никогда не сделала этого с тобой. И с собой. Просто мне плохо, парень, отвратно мне, плохо, рвотно мне, гадко, лажово мне

сильно, знаешь. Одиноко. Нет у меня никого. Хотя, знаешь, я всем нужна. И я захотела узнать, как это – когда тебе кто-то нужен». – «А я тебе нужен?» – спросил я, и опять это вышло беспомощно, по-детски и глупо.

«Ложись», – просто сказала она и толкнула меня опять, на этот раз растопыренными пальцами, в грудь. Я упал на спину. Мне было не до смеха. В открытое окно летел снег, он летел прямо на наши голые тела, и я зло сказал: «Хочешь, чтобы я простудился и сдох, да?» Она легла на меня, и под ее горячим узконогим, многогрудым телом я растекся по простыне, как жидкий воск. Гладкость ее кожи удивляла. Голая, она была вся худая как вобла, только грудь большая. Я не догадывался, сколько ей лет. Скорей всего, она была чуть постарше меня, так я думал в ночи, в темноте. Она опытной хитрой рукой нашарила мой член, гороховый твердый стручок, между своим животом и моим. Все происходило без всяких изощренных выдумок, без фантазий, безо всякой раскачки. Быстро и сразу. Я глядел снизу вверх на треугольник ее вздернутого подбородка, на висящие вдоль щеки и плеча волосы, на волосы падал из окна красный свет фонаря, а снег все летел и летел. И волосы то вздымались, то опадали, взвивались, опадали, взвивались, опадали. Она закидывала подбородок все выше, и я думал, у нее сломается шея. Я был сущий пацан и не знал, что могут вытворять с мужчинами бывалые женщины. То, что девка бывалая, я понял, когда она, отдыхая, шепнула мне в потное ухо: «Хо-

чешь еще? Я могу всю ночь. Я тебя научу».

Я не помню, получилось ли у нас еще. Или еще и еще, тем более всю ночь. Кажется, я быстро и досыта наелся ее тела и заснул. И просто нагло дрых – под этим жестоко открытым окном, под снегом, будто не в мотеле, а в чистом поле. И мне снилось, будто я сплю в холодной, пустой и длинной, жуткой трубе теплоцентрали на дне оврага, укрытого холодной ватой сырого снега.

Сон мой сбылся. Когда я проснулся, официантши не было рядом со мной. А я-то наивно думал – она будет спать, обняв меня за шею, а может, вцепившись мне в мой вялый стручок. Я не спросил, как ее зовут, она не спросила меня. Плевать! В жизни надо уметь на многое плевать. Не надо загромождать себе голову лишней информацией. Надо делать, а не мечтать. Действовать, а не думать. Хотя я любил помечтать. Я мечтал, что я буду славный и богатый, и у меня будет хорошенькая, тоненькая как камышинка, богатая невеста. Пусть она окончит Кембридж или Оксфорд, и пусть она будет дочкой крутого магната, наикрутейшего, жирного и смешного, это неважно. Мы будем с ней летать на Канары, а может, на Мальдивы, не знаю. У нас там будет вилла. Вилла, это слово похоже на вилку. Лучше всего утопить жирного магната в ванне, или взрезать ему брюхо финкой, тогда нам достанутся сразу все капиталы. И что? К чему эти сундуки денег? Можно снять фильм в Голливуде. О моей жизни. О том, как я трахаюсь в придорожном трактире с красивой

халдейкой, и от нее пахнет цветочным потом и недоеденным харчо.

Я встал с матраца и оделся. На матрац я старался не смотреть. Мне казалось – наш пот, пятна моей спермы, выступы наших локтей и колен зарисовали на простыне все наше настоящее и будущее. Дверь скрипнула, она вошла. Я стоял у окна, спиной к двери, и я спиной увидел ее. Потом обернулся и разглядел слепыми со сна глазами. Дневной жестокий белый, снежный свет бил в окно наотмашь, и я этом свете я видел: морщины у глаз, морщины в углах губ. Старая тетка, свежатинки захотелось. На нижней губе вспыхивала серебряная блестка. Я вспомнил, как ночью кусал ее губу и сосал, как леденец, ее пирсинг. Я был доволен, что я был пьян, беспомощен и послушен как баран, и не сумел ей отказать. Теперь я тоже стал старше – на целую придорожную любовь. Она молчала, стояла у двери, вцепилась в дверную ручку. Будто ждала особого приглашения. Будто боялась ко мне ближе подойти, чтобы не броситься мне на грудь. Будто бы я уходил на войну, и она меня провожала. Такая ерунда. Подошел я. Очень близко подошел, так, что нос мой опять ощутил этот запах мертвых подснежников. Она уже накрасилась – густо и гадко, рот облеплен кровавой помадой, на веках нашлепками висят тушь и тени с пошлыми блестками, на скулах дешево горят кирпичные румяна. «Эй, что молчишь? – спросил я. – Что встала, как неживая? Я пошел. Давай хоть на дорожку обнимемся, что ли». Она с трудом

вскинула руки, будто бы они у нее были чугунные, такие тяжелые, неподъемные, и положила мне их на плечи, и я согнул колени под тяжестью этих теплых, больших рук. «Давай», – так же тускло, как вчера, в начале всей этой истории, в пропахшем чебуреками зале, сказала она. И мне тоже было тяжело, больно вскинуть руки, чтобы по-человечески, крепко обнять ее. Я все думал: может, не надо обниматься, а то я опять захочу ее?

Но мои руки поднялись, я облапил ее за спину, под ладонями почувствовал ее тугие, подвижные худые лопатки и крепко прижал ее к себе. И потом притиснул еще крепче. И еще, и еще. Будто хотел так придавить, чтобы весь ее дух вышел вон, дыхание вылетело из нее, и она осталась внутри пустая, как выеденное яйцо, и чтобы под моими ладонями трещала, крошилась ее тусклая, обыденная скорлупа.

Она отвернула размалеванное скоморошье лицо. Раскрашенную маску. Я так и не узнал никогда, какое оно у нее на самом деле. Ее ночное, потное, настоящее.

Я не помню, как она исчезла. А может, это исчез я. Улица обняла туманом, волглой изморосью. Я побрел к дороге. Сильно хотелось спать. Я окончательно протрезвел, и даже похмеляться не хотелось. Под ногами сначала твердел асфальт, потом плыла земля. Мокрая холодная земля плыла, уплывала вниз, и я плыл вместе с ней. Повалился набок, и вместе с землей и грязью скользко сполз вниз, на дно оврага. Туман сыграл со мной шутку. Из тумана выглядывало

зевло громадной каменной змеи. Я понял наконец, что это жерло теплоцентрали. Изнутри, из трубы, послышался стон. Женский, а может, детский. Я вошел в трубу, даже не согнувшись. Здесь туман был попрозрачней, клубясь, разлетался дымом. Я наклонился над телом, издававшим стоны. Тощая, как та моя военная астраханская вобла, девчонка в короткой, будто с чужого плеча, куртке, лохмотья джинсов, в ноздре пирсинг, пирсинги на бровях, на губе, на подбородке. Я сел на корточки рядом с этой грязной, колючей, выкинутой на свалку новогодней елкой. «Эй, как тебя сюда занесло? Тебе плохо?» Она опять простонала. «Ты что стонешь, будто рожаешь, эй?» Я осмотрел ее, расстегнул куртку, провел ей руками по спине и бокам, задрал голову и глянул под изукрашенный металлом подбородок. Ран не было. «Чисто все, голубка, давай в строй и марш!» Девчонка молчала и только стонала. «Ты что, немая, мать твою?» Она открыла рот и вывалила язык. Весь ее язык был истыкан, проткнут насквозь чем-то тонким и острым. Кровь еще сочилась. Она втянула распухший язык под зубы, а я, покрывшись потом страха и внезапной жалости, лег рядом с ней и обнял ее. И стал греть собой. «Эй, подруга, давай-ка мы с тобой двинем отсюда. Пойдем в кафе. Я напою тебя чаем. А хочешь, кофе. А, тебе трудно горячее. Ну тогда минералкой. У меня денег нет, да мне так дадут. У меня тут прихваты». Я бормотал сам не знаю что, лишь бы ее утешить. Она перестала стонать. В трубе было странно, несбыточно тепло. Туман обволаки-

вал нас, летал вокруг нас призрачными голубями. Пирсинг на ее брови больно колол мне щеку. Я крепче обнял девчонку, и мы оба провалились в странный, туманный сон.

Когда я разлепил глаза, я уже лежал один. Я с трудом сел и обхватил себя за колени. Спина болела. Кости отсырели, подумал я про свои кости, как древний старикан, и тихо, сумасшедше захохотал.

Сны сбываются, вы знаете об этом?

Так вот, про мою партию. Она моя, и она не только моя. По всей стране нас мало, сознаю. Но где сказано, что революцию делают массы? Перевороты всегда делают либо дворцовые бандиты, либо маленькие людские группки – те, что могут хорошо, правильно сплотиться и сделать единственно верные, правильные шаги. А потом уже тайное становится явным. И тогда берегись.

Моя партия, я так смело говорю это теперь, и для меня «моя», может, важнее, чем «партия». Чтобы хоть что-то на земле человеку стало родным – это, знаете, дорогого стоит. Я верил в партию так, как верующие дураки верят в своего Христа. Или там в Аллаха, не знаю. Или в Будду. Вы не считали, сколько вообще богов выдумали себе люди-фантазеры? Я не считал. Но догадываюсь: их много. Богов, может, больше, чем людей. Не всякий в них разберется. Моя партия приняла меня в себя, как многих сирот. Все мы, партийцы, так или иначе слонялись по миру сиротами: кого

партия подобрала из пьяной лужи, кто прибился, насмерть обиженный сильным и властным, кто мечтал отомстить, кто мыслил по-крупному, лелея не только переворот, а составляя программу капитального переустройства страны. Грабь награбленное, я же уже открыл вам наш главный лозунг. Среди основных лозунгов были и такие: отобрать и поделить; Сталин, Берия, ГУЛАГ; трясись, народ миллионный, Ленин идет краснознаменный, – и все такое. Не смейтесь, на самом деле Ленин и Сталин были тут совершенно ни при чем. У нас есть вождь, и он не похож ни на Ленина, ни на Сталина. Он сам по себе. Сильнее он или слабее их, легендарных? Это покажет время. Нам было наплевать на его силу или на его слабость. Нас вдохновляли его идеи. Я вот так вдохновился, что воочию видел иную страну: всюду разлив красных флагов, каждая ночь – Хрустальная, с криками и резней, по всем полям и лесам – новехонькие лагеря, и за мотками колючей проволоки сидят они, кто не дает нам жить. Мир, знаете, устроен очень просто: или мы их, или они нас. Третьего не дано.

Нам не нужно было брить башки, как скинхедам, или рисовать на песке пентаграммы и поливать их птичьей кровью, как сатанистам. Мы все с виду были вполне обычные. Люди как люди. Но клеймо партии, оно несмываемо. Юность моя прошла под знаком моей партии. И юность, я еще не знаю, закончилась она или нет; иногда мне кажется, что у меня не было ни детства, ни отрочества, ни юности, а я сразу стал

взрослым и сразу трахнулся с бабой, и сразу поехал на войну, и сразу убил, и сразу напился, чтобы забыть, что живой. Я каждый день отправлялся туда, где собиралась моя партия – в партийный штаб. Штаб, это звучит гордо. Все, что объединяет людей под флагом великой идеи, вообще гордо звучит. В штабе моей партии собирались люди – все мы. Возраста у нас у всех, как и у меня, не было. Мы жили вне времени, мы видели его сверху, с птичьего полета, мы разрезали его ножами, кромсали, разымали на мышцы и сухожилия, разливали по стаканам его кровь. Огромным караваем казалась нам наша страна, и мы понимали: ее надо только правильно, точно разрезать. А потом наново сшить куски суровой грязной нитью. И особенно тщательно зашить рану, в которую ей вложили новое, наше сердце.

Пересадка сердца стране! Да, мы замахнулись. Перекраивать, так основательно. Если хотите, окончательно. Да, нас мало, по всей России не наберется и тридцати тысяч; но какая, хрен, разница? Моя партия говорила мне: ты молод, и ты зачнешь новую Россию и родишь ее. Я хотел осеменить эту землю. Она должна была дать новые всходы. Мы ненавидели лощеных и богатых – прежде всего за то, что они у нас это богатство нагло отняли. Мы ясно понимали: это они допущены к мировым деньгам, а не мы. И, когда Гауляйтер раздавал нам, из щедрых толстопалых рук своих, подарки к новому году или к Первому Мая, мы чуть ли не молились на это дешевое овсяное, с изюмом, печенье и на эти жалкие купюры,

торчащие из целлофанового пакета. Много ли нужно человеку для радости? Сигареты, пиво, водка, вера. Да, мы верили. И верим. А может, я один сейчас верю, не знаю. Знаю лишь одно: вера нужна, без веры человек живо станет животным, и его отстрелят и забудут, и даже кладбище ему не светит – он так и сгниет на задворках, в куче палых листьев, в волглом сугробе.

Я хотел мощи и потрясения, а мою юность жевала первобытными жвалами моя семья – мой кошелек отец и моя кошелка мачеха, эта парочка обрыдла мне, и часто, да, слишком часто я хотел их убить. Обоих? Отец был мне нужен позарез; как же прожить без кошелька? А вот мачеху-бочонок я бы с наслаждением изрубил топором, в щепки. Эти кровожадные картинки всплывали перед глазами и уплывали в ночь. На балконе я не курил – боялся, что он обвалится подо мной. Я курил, сидя на унитазе. Смотрел на оббитый край чугунной ванны. Меня отец купал в ней ребенком. А теперь ребенок вырос, и хочет зверски убить чужую женщину, и боится до полусмерти. Так боится, что готов, бессильно всхлипывая, накласть в штанишки. Детский страх, признаю, но куда нам деваться от нашего детства? Мне часто хотелось прижаться головой к чьей-то широкой и теплой груди, все равно, к мужской, к женской, и порыдать вволюшку. Я обзывал себя бабой и тряпкой и гнал прочь это постыдное желание, как гонят хворостиной в грязной деревне белых жирных гусей. Мачеха была моим каждодневным ужасом. Она кричала

мне: «Не кури в ванной! Не кури в кухне! Все шторы прокурил! Все простынки воняют табаком! Не ходи по квартире в грязных сапогах! Не бери деньги у отца, у него их все равно нет! Не пали на газе рыбьи пузыри! Не кидай пустые бутылки на пол!» Мачеху я хотел убить больше всего, всегда, ежеминутно, не таясь, в открытую; однажды я ей так и сказал: «Хорош орать, а то убью». Она захлопнула рот и круглыми глазами посмотрела на меня, а потом изумленно захлопала голыми, без ресниц, веками – хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Похлопала и ушла на кухню. Обдумывать сказанное мной.

Иной раз мне казалось: мы три зверя, и живем в одной клетке. И мучимся, и мучим друг друга. Толстый, мой партийный друг, сказал мне: «Поселяйся один». У меня не было денег на жилье. У меня не было денег на еду. У меня ни на что денег не было. Все думаю сейчас: а если бы отец вдруг взял да и перестал совать мне деньги? Перестал жалеть меня? Что бы я тогда стал делать? А ничего. Все осталось бы так же. Просто я вынимал бы деньги из друзей; потом занимал у других, чтобы отдать этим; потом, не знаю, ограбил бы кого-нибудь на улице, чтобы всем отдать долбаные долги. А может, и кое-что подарить от щедрот душевных. На водку-пиво. В этом случае хорошо разбить стекло богатой машины и стибрить с сиденья барсетку олигарха. Тут тебе сразу и месть, и добыча.

Юность шла и проходила, как тусклый сериал по старому телевизору, и никто не догадывался выдернуть штепсель

из розетки, чтобы прекратить этот нудный пошлый фильм. Я-то догадывался. Но самоубийство казалось мне слишком страшным и слишком противным. И потом, я боялся последней боли. Боль была самой отвратительной из всех земных гадостей. Хотя, чтобы откосить от армии, я уж вам говорил, я ножом жестоко изрезал себе грудь и запястья. Кряхтел, кусал губы, но все равно резал себя. Безо всякого зеркала, просто нагнув шею. И следил, как по груди быстро и весело течет кровь на штаны. Раны чуть поджили, синие рубцы затвердели, и я торжественно и нагло явился в поликлинику к психиатру. Мне выписали справку, там стояло волшебное слово: «НЕВМЕНЯЕМЫЙ», – и с этой славной бумажонкой я побежал в военкомат и кинул бумажку на стол главному солдафону. Армии я боялся именно потому, что прошедшие ее рассказывали про нее страшные байки: как там бьют в живот, как заставляют пить воду из грязного сапога, как выдирают с головы по волоску, если не выполнишь приказа. И как те, кто не выдерживает боли и унижений, вешаются где попало – в туалете, в столовой, в лесу на березе. Если рядом с частью есть лес, конечно. А то зашлют тебя в барханы, и только один выход – стреляться посреди песков.

Отец увидел мою изрезанную грудь, поджал рот и ничего не сказал. Боялся. Он тоже боялся, как бы я не сделал последнего шага. И я поймал эту боязнь и стал беззастенчиво играть на ней. Чуть что не по-моему, – не дают денег на выпивку, запрещают слушать музыку вечерами, – я уда-

лялся в ванную и прикручивал ремень к гвоздю, торчащему прямо под пыльной лампой. Выходил к отцу и мачехе в комнату и мрачно сообщал: «Я уже сладил петлю. Все. Встретимся на том свете. Вы меня достали». И запирался в ванной. В дверь стучали: сначала отец, потом подходила мачеха, она била в дверь толстой ногой. «Открывай, щенок вонючий!» Напоследок она еще раз мощно лягала дверь так, что она чуть не вылетала из петель, и уходила в комнату, бросая: «Да пусть он сдохнет, тварь такая!» Я слышал скулеж отца: «Фимка, не надо. Фимочка, я тебя люблю! Да мы, мы все для тебя… да я дам, дам, только вылезай оттуда, слышишь, не надо…» Я накуривался до одури и щелкал задвижкой. Отец уже стоял рядом, трясся от радости, что я живой, и затискивал мне в кулак мятые купюры: на, на, возьми, делай что хочешь, только не умирай!

Ты подумай-ка, как люди любят своих родных. Как стремятся во что бы то ни стало сохранить им жизнь. Таких, как я, возможно, надо отстреливать на пустырях, а не кормить дармовыми грошами. Но я-то себя любил – а кто запретит человеку любить себя? Даже у этого самого Христа, которого я осмысленно, правильно ненавижу, сказано где-то там, не знаю где: «Полюби ближнего, как самого себя». Самого себя, это же надо! Себя, а не соседского Васю. Сначала себя, а потом уже Васю. Выходит так. Значит, все правильно; и даже тупой слащавый бог догадался, что к чему.

А я догадался еще об одном. Человеку противно униже-

ние. Он снесет все что угодно, и даже боль, побои и раны. Но когда унижают – это хуже всего. Даже хуже смерти. Потому что когда ты мертвец, тебя уже никто не сможет унизить. Мачеха виртуозно унижала меня. Это было ее любимым занятием. Отца она унизить никак не могла – он уже был изначально унижен, он таким родился, униженным, жалким. Унижать его было скучно и ни к чему. А вот я – да, я был лакомым кусочком. Я был молодым куриным мясцом, мальчишка, салага, как это она вопила все время: «Щенок!» И это белое нежное мясцо можно было безнаказанно кусать, грызть, молотить цепом деревянных слов, накалывать на вилку железных оскорблений. Мачеха понимала, что я все равно не дам отпора – сначала я был слишком мал, потом слишком тщедушен, потом слишком умен, чтобы дать сдачи или, еще хлеще, пойти на нее войной. Хотя я так мечтал! В мечтах я даже вцеплялся ей в глотку зубами, как собака, и перегрызал ей горло. Я увидал по телевизору, как восточные террористы перерезают глотки поганым христианам на берегу моря, и думал: как бы хорошо с ней вот так же – она на коленях, я за ее спиной взмахиваю ножом! У нас на кухне в ящике валялся набор отменных тесаков. Я часто представлял: вот я выдвигаю ящик, вот хватаю самый острый и самый большой тесак. И иду в комнату. Отца нет. Я ногой разбиваю постылый телевизор. Она орет. Я связываю ей за спиной толстые руки и коленом пихаю в спину. Она верещит: «Пощади! Я больше не буду!» Будешь, говорю я, будешь, но мне

это все надоело, получи, – и рванув левой рукой ее подлую курчавую, как у овцы, крашеную головенку назад, правой, в ней зажат тесак, сладострастно провожу лезвием ей под подбородком. Теплая кровь брызжет на мою руку. Она хрипит и валился на пол. Пол весь залит кровью. Я торжествую. Но, знаете, всецелого торжества почему-то нет. Часть моей души не удовлетворена. Даже больше: я чувствую тонкое, глухое страдание. Отчего? Что со мной случилось? Кого я жалею? Эту подлую рыжую тетку?

И тут я вместо зарезанной мачехи видел мать. Мать, которую никогда не видел.

Я не знаю, почему они расстались, мать и отец. Да потому же, почему расстаются все люди: расстались, и все. Разлуку никогда не надо объяснять. Она зачем-то нужна. Затем же, зачем нужны еда, питье, курево и унитаз. Это необходимость. Без разлук люди не живут. Все наивно думают, что разлука разрезает надвое, а я так думаю, она сшивает суровой крепкой нитью то, что порвано. В разлуке яснее виден человек, который от тебя ушел. И он так же ясно, как под лупой, видит тебя. А может, моя мать умерла, отец же никогда не говорил. А я и не спрашивал. Почему не спрашивал? Язык не поворачивался. Мне казалось, я спрошу отца о моей матери, а в ответ услышу такое, что слышать живому человеку ни под каким видом нельзя. Мне чудилось, что моя мать убила человека и сбежала, и живет теперь с чужим паспортом и под другим именем. Или что ее посадили

на всю жизнь за решетку. Или что она вышла замуж за богатея и удрала в другую страну; при этой мысли я ненавидел ее больше всего. Я бросил думать о ней. Правда, иногда ночью, когда не спалось, или даже во сне, когда перед глазами тянулась дикая длинная, бесконечная нить и кто-то тонкий верещал высоко над затылком: «Пить! Пить! Пить!» – как бедная, над разрушенным гнездом, зимняя птица, я думал о матери, и она, что никогда не существовала, все-таки являлась мне – очень печальная, молчащая, с опущенной головой, лицо ее моталось в тени, но я догадывался, что она красивая. Я и сам был неплох, да и сейчас неплох: девки, несмотря на то, что я нищий и алкоголик, вешаются на меня. Правда, быстро отваливаются; девкам для жизни нужен богатый и плотный, а не бедный и тощий. Хотя, знаете, кому что. Есть и любители рыбьих скелетов.

Я шептал: «Мама, ты где, мама, ты бы меня никогда не унижала», – о материнской ласке я боялся думать, не хотел, но думал все равно: как это, когда мать обнимает и целует, когда тебе на лоб или на щеку падают ее слезы? Ее чистые слезы: потому что она тебя жалеет и любит. А каково это, когда тебя любят? Какое это чувство? Твое, когда ты ощущаешь, принимаешь эту любовь? Я никогда такого не испытывал. В штабе нашей партии меня обнимала иллюзия дружбы. Водка давала иллюзию радости. Девчонки – иллюзию наслаждения. Сигарета – иллюзию покоя. Все на свете было притворством, дымной ложью. Я хотел правды. Правда просве-

чивала только в воззваниях нашего Вождя. Наш Вождь жил в Москве. А мы все жили в городе на широкой холодной реке посреди широкой бедной России. Это легенда, что Россия богатая. На самом деле она бедная сирота, и просит любви, и просит ласки. Да никто ей не дает.

Гауляйтер пару раз отправлял меня в Москву с заданиями. Задания простые: передать бумаги, взять бумаги. Иногда доставить в столицу заколоченный мелкими гвоздями деревянный ящик. Ящик был тяжелый, я подозревал, что в ящике оружие, но это были мои личные, ни на чем не основанные подозрения, и с тем ящиком я преспокойно ехал в скором поезде, в сидячем, потому что самый дешевый, вагоне, затолкав ящик под сиденье и чувствуя себя героем. А может, в ящике лежали сушеный урюк и сушеная дыня – предки Гауляйтера, или, как он выражался, шнурки, жили в Ташкенте, и, когда началась у нас вся пошлая заваруха девяностых, так из Средней Азии и не вернулись. А что, хорошо, тепло, абрикосы корзинами, дыни мешками, город клевый, небоскребы, фонтаны, правда, иногда трясет. Да трясет везде: и в Москве землетрясения бывают, и у нас на Волге, великой русской реке. Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река! Гауляйтер пел эту песню на свой манер, по-немецки: «Wolga, Wolga, mutter Wolga! Wolga, Wolga, russland Fluss!» Ящик я передавал из рук в руки угрюмому человеку: я знал, он приспешник Вождя. Из чего я делал вывод, что да, все-таки ташкентская дыня, в подарок старику.

Вождь нашей партии был уже в летах. Это придавало ему весомость в наших глазах. Столько люди не живут, уважительно думал я, разглядывая его фотографию на обложке его самопальной книжки. Воззвания, речи, раздумья. Как нам переустроить страну. Как нам организовать народ. Как нам отобрать деньги у богатых. Как нам наказать виновных. Да, главное, как наказать! Ни одно государство не живет без наказания тех, кто провинился. Вон в Китае, об этом все знают, это не секрет, прилюдно, на площадях расстреливают преступников. А в Саудовской Аравии их принародно побивают камнями. Особенно мне нравилось то, что на Ближнем Востоке, в этой жаркой песчаной Мусульмании, женщин, сделавших гадость, карают жестоко: камнями – это понятно, это еще легкая смерть; а вот девчонке, загулявшей с парнем до свадьбы, отрезают нос и уши, а потом либо сжигают заживо, либо закапывают живьем. Вот это я понимаю, законы шариата! И все это с девчонкой делает либо ее отец, либо ее братья, если братья имеются. А уж они точно имеются, на Востоке огромные семьи, там же плюют на противозачаточные средства, а мужчина имеет жену, когда захочет, и не одну. У них можно четырех, я читал. Я любил смотреть фильмы о разных зверствах, находил их по телевизору, а потом появился интернет, отец компьютер купил, и по интернету. Меня привлекала не сама жестокость – что, я жестокостей в натуре не видел? Я хотел ближе, подробней рассмотреть лица людей, когда они творили жестокость с людьми.

Я глядел и удивлялся их самообладанию: как это они рубят головы и не заплачут, как стреляют, колют штыками в рукопашном бою – и не сходят с ума?

Про себя, втихаря, я думал: я бы уже давно спятил. Однако война невыразимо тянула меня. Вы скажете: вот, в армии не был, а морду хочет прямо в кровь и ужас сунуть! Вы не понимаете. Армия – это подневольный строй, это ярмо. А ты – скотина, а старшина – твой пастух. И никакой опасностью, смертью никакой рядом с вами и не пахнет. Живая война – другое. Там и командир, и солдаты, и ты – все равно подвержены близкой смерти. А хорошо, сладко ходить по ее кромке. Это круче выпивки. Круче любой водки на свете. Даже спанье с девкой с войной не сравнится. Так я думал тогда. А как я думаю сейчас? Думаю так же, как тогда. С войной на земле ничто не станет рядом. Недаром о ней прорву фильмов снимают. И человек без войны никогда не будет жить. Все это сказки про счастливое коммунистическое будущее. Люди живут в аду, в аду и будут жить. Просто они время от времени сами себе врут, что Земля – райский сад, и что они живут в раю, да вот плохо живут, рай-то кровью и грязью попорчен, и рай надо обустроить, – и только начнут копошиться, суетиться и строить великий рай, как тут – бац, и опять война.

Жестокость, убийство – в природе человека. Я не читал никаких философов, я смутно слышал какие-то красивые имена, и все не наши, все заграничные. Фромм, Юнг, ну про

Фрейда все знают, потому что он про письки в основном писал, письки всегда и всех интересуют. Через то этот бородатый европейский дед и прославился. Я видал коричневую старую фотографию Фрейда в глянцевом журнале: сидит в кожаном кресле, холеные руки на коленях, на пальце перстень, в руках зонтик. Зонтик, ха-ха! Вот Гитлер. Этот – да, мог. Его толстую книжку «Моя борьба» наши партийцы зачитывали до дыр, она доползла наконец до меня, и я читал ее ночами в нужнике, чтобы светом не мешать мачехе спать. Когда мачеха хотела в туалет, она ногой стучала в закрытую дверь и визжала: «Ты что, тут дрочишь?! А ну-ка вон отсюда! Еще чего, засел, заседатель!» Я вываливался в коридор. Однажды поднял книгу и ею стукнул мачеху по крашеному темени. Не так чтобы слишком сильно, но ощутимо. Она заверещала: «Гена, я вызываю милицию! Гена, он меня ударил! У меня сотрясение мозга!» Я лег на свою раскладушку, зажег карманный фонарик и продолжил чтение великой «Mein Kampf» под одеялом. Да, представьте себе, я спал на раскладушке, квартирка наша однокомнатная к роскошному отдыху не располагала: отец и мачеха за шкафом, я на раскладушке около балконной двери. Я никогда не слышал, чтобы мачеха и отец возились, трахаясь, за шкафом. Лежали всегда тихо, как мыши. Меня это смешило, и, чтобы их позлить, я иногда начинал сам тихо постанывать. Мачеха прекращала оглушительно храпеть и отчетливо, зло говорила: «Негодяй!» Ее голос деревянно ударялся о дверцы старого совет-

ского шкафа.

Штаб нашей партии все больше становился моим домом. Я там ел, пил, курил, ночевал: дежурил. Штаб располагался на первом этаже большого мрачного здания, где раньше была больница, а теперь помещения сдавались под разномастные фирмы. У Гауляйтера был богатый корефан, он оплачивал эту площадь. Друзья курили со мной у открытой форточки, у толстой решетки. «Чувствуй себя в тюрьме, – хохотали, – видишь, уже тебе и решетку приспособили!» Каждому из нас хотелось посидеть в тюрьме. Ты сидел в тюрьме – значит, ты уже герой. Мы, члены запрещенной партии, уже все были героями; только об этом никто не знал. Необходимо было учудить нечто такое, что потрясло бы мир. Чем же тебя, мир глупый, потрясти? Что-нибудь взорвать? Кого-нибудь убить? Чтобы тебя узнали и о тебе говорили, все средства хороши. Ты известен, значит, ты живешь. А так – прокоптишь небеса, и помрешь, и зароют. И все. Как и не было тебя.

Тогда у меня появился закадычный друг. Вырос, как гриб из-под земли. Шел я как-то раз из штаба домой, отдежурив; дело было ранним зимним утром, темень, фонари мигают в тумане. На меня напали, вывернулись из-за угла. Я стал храбро драться, лягнул водосточную трубу, она свалилась с диким шумом. Били меня хорошо, правильно. Я не сдавался. Хоть я и тощий, а драться научился прилично. Хоть что-то я умел делать прилично. Из подъезда выбежал парень

в одних трусах. Ринулся ко мне и ввязался в бой. По слякотному тротуару каталась куча мала из чертовой ледяной и мокрой кожи, человечьей горячей кожи, грязи, заклепок, мяса и костей. Парень в трусах тоже славно дубасил. Мы разбили троим рожи в кровь. Один полз по асфальту со сломанной рукой и кричал: «Мама! Мама!» Двое пятились с отборными матюгами. По рельсам прогрохотал первый трамвай. «Ну я поехал, – сказал я и протянул парню выпачканную кровью руку, – спасибо». Он схватил мою руку и оскалился – это он так смеялся. «Двинем ко мне, ты, слышишь! Покурим кальян. Еще у меня есть шашлычок холодный. Я разогрею, ты не бойся. Ты не бойся меня, я тебя не съем». Я прельстился шашлычком, холодным, горячим, все равно, и вошел вслед за голым парнем в темный подъезд. Он шлепал босыми ногами по мрачной лестнице, я шел за ним, глядел на его чуть ссутуленную мощную спину и видел, как по желтой коже ползут капли пота. Как слезы. Его спина плакала.

Я шел за ним и думал: как же это он не замерз, голым на улице в мороз! Вошли в его хату. Он прыгнул в душ. Я уже раздевался. Осматривался: холостяцкое жилье, женщиной и не пахнет. Стены исписаны фломастером. Лозунги всякие. Юмор, гадости, высокий штиль. Буквы русские, латинские, а это что за узор? Он вышел из душа, обмотанный полотенцем, розовый, веселый, под глазом синяк. Я ткнул пальцем в зимнюю кружевную вязь на обоях. Он усмехнулся: «Это по-арабски». – «А ты умеешь по-арабски? Или так, для

красоты?» – «Еще как умею». И он, пристально глядя на меня, расстреливая меня белыми веселыми, безумными глазами, стал говорить, как петь. Я ни черта не понимал. Слушал, как музыку. «Красивый язык, – сказал я со вздохом. – А теперь переведи!» Он засмеялся, в его рту недоставало глазного зуба, но это ему не сейчас выбили, а когда-нибудь раньше. «Это я прочитал тебе пятую суру Корана, Аль-Маиду. О те, которые уверовали! Аллах обязательно подвергнет вас испытанию охотничьей добычей, ее смогут достать ваши руки и копья, чтобы Аллах узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию. А кто преступит границы дозволенного, тому будут уготованы мучительные страдания!» Какая чушь, подумал я, на мусульманина нарвался, проклятье, все верующие одинаковы, сейчас он меня этими сурами забодает, – но было уже поздно, парень уже зажигал газ на кухнешке, крохотной как скворечник, уже шипело масло на сковородке, и вкусно пахло жареной бараниной, и обдавался крутым кипятком пузатый фаянсовый чайничек, и парень орал радостно: «Тебе какой?! Черный?! Зеленый?! Какой ты пьешь, не молчи, эй, что воды в рот набрал! А у меня и красный, и белый есть!» Я никогда не пил белый чай – и попросил белый. Ничего особенного, бледная немочь. И правда белый. Чуть желтоватая водичка. И на вкус никакая.

Я тоже принял душ, он был слишком горячий, я обжегся, но просить уменьшить газ стеснялся, и весь красный, как рак, вылез на кухню. Посреди стола стояло хитрое, похожее

на игрушечную пагоду сооружение. «Кальян, – сказал парень гордо, – тебе с красным вином или с белым?» Мы курили кальян и закрывали глаза. Потом нажимали на шашлык. Баранина была слегка тухловатой. Парень нарочно крепко прожарил ее и густо посолил. Должно быть, шашлык валялся у него в холодильнике неделю.

Он подливал мне вино в чашку – рюмок тут не водилось, и подливал вина в недра кальяна. Дым вился и гладил нас по избитым щекам и вспухшим кулакам. Я как-то сразу понял, что этот голый сильный парень послан мне недаром. Я не хотел его терять. С ним было легко, весело и тепло. Очень тепло. Мне ни с кем так тепло еще не было. «Налей еще, – я протянул чашку, – хотя, знаешь, я с красного вина буду икать, а потом у меня будет изжога». Парень подлил мне в чашку вина, усмехнулся, черная дыра во рту вызывала во мне жалость. «От изжоги я тебе соду дам. Чайная ложка соды, и ты здоров, позабудь про докторов. Давай хоть познакомимся, что ли! Баттал! Ефим? Ефим, ну у тебя имечко! Старинное!» Я смотрел на абсолютно русскую, курносую рожу Баттала и ничего не понимал. Ну, может, думал, у него мамка мусульманка, а он в папку уродился. Это потом я узнал, что он сам себе взял это имя, оно на арабском означает «герой», и даже специально паспорт поменял, а так по прежнему паспорту он был Василий, Вася Сидоров всего лишь. Иванов, Петров, Сидоров. Взял бы тогда уж себе фамилию Кальян!

«Тебе не холодно голым сидеть?» – спросил я Баттала. Он пронзительно глянул на меня. «Нет. Я закаляюсь. А ты что такой хлипкий? Тебе бы накачаться хорошенько. Иди-ка сюда». Мы вылезли из-за стола и прошли из кухни в его комнатенку. Турник, шведская стенка, даже гимнастический конь с разрезанной кожей, и вата вылезает. Баттал пошарил в тумбочке и вынул пакет. «Вот, держи». – «Что это?» – «Протеин. Что встал столбом? Не бойся, не отравлю. Бери, пей регулярно. Надо разбавлять водой. Не переборщи. Это белок. Для мышц. Их у тебя совсем нет, я гляжу. И приходи ко мне, когда я дома, занимайся», – и он кивнул на спортивные снаряды. Мне до сих пор странно, как это он так быстро передо мной раскрылся. Никакой раскачки не было у дружбы, никакого зазора. На мгновение, тогда, среди огрызков шашлыка, винного дыма и стального блеска турника, я подумал: обхаживает меня, что ли, может, трахнуть хочет? может, это голубятня? и надо быстро валить? – но Баттал глядел так чисто и честно, и так весело, и так знающе, – он уже тогда все знал про меня: то, чего я сам тогда еще не знал и даже не предполагал, что так все будет.

Я рассказал ему про нашу партию. Он сделался серьезным, даже печальным. Снова, босой, прошлепал на кухоньку и припал губами к трубке кальяна. Вдохнул раз, другой, закрыл глаза. «Знаешь, Ефим, вы молодцы. Вы – сопротивляетесь. Мир – это скотный двор. Только заброшенный. Никто не заботится о скотине. Все всех кинули. Меньше всего

заботятся о людях богатые. Но богатые у власти. Они строят себе шикарные виллы и отели, они едят с серебра, они катаются на яхтах, у них лучшие женщины. Власть для них, это золотой поднос, и на нем мир, его надо сожрать. Но этот порядок можно порушить. Ты рушишь с одной стороны. Я – с другой». – «С какой?» – затаив дыхание, спросил я. «Потом скажу. Долго говорить. Я сейчас не готов к такому разговору. Мы все скованы по рукам и ногам Западом. Цивилизацией моря. Но есть самая древняя земля. Цивилизация суши. Это Восток. Там другие устои и другая жизнь. Там нет разврата, там порядок, там железные законы, царство Аллаха и звездное небо над нашими глупыми затылками. Знаешь, это сейчас все они дергаются, атлантические засранцы, американцы, немцы, французы, итальянцы. Настанет день, и мир, хочет этого или не хочет, а встанет под зеленое знамя ислама». Я слушал Баттала и думал: ну все, попался я, сумасшедший восточный фанатик, сейчас он во мне, в русском парне, врага увидит, схватит нож и по горлу меня полоснет. И моей жертвенной русской, бараньей кровью окропит свой священный Коран. Баттал уловил мои мысли, он их просто прочитал, а может, они у меня на лице были четко написаны. Расхохотался и крепко, больно хлопнул меня кулаком по плечу. «Расслабься! Ты! Что подумал! Я тебе добра желаю. Хороший ты парень, Фима, честно. Да только ты заброшенный скот. Никто тебя не трет, не чистит, корм тебе не задает». – «А ты что, – обозлился я, – в пастухи набиваешься?» – «Да-

вай выпьем, тут на донышке. Расслабься и получи удовольствие!» – весело сказал он и разлил по чашкам остатки синего, густого саперави.

Да, вот так все оно и закрутилось. У меня началась другая жизнь. Нет, наша партия никуда не делась, и отец с мачехой никуда не делись, и нищета никуда не делась, и безработица, и голодуха, – а вот одиночество делось. Испарилось, как и не было его. Баттал постепенно становился для меня нужнее нужного. Я дышал им, как воздухом. Хотя я понимал: у него своя жизнь, у меня своя, – а он все-таки дал мне ключ от своей комнатушки, и я мог приходить к нему в любое время: не только подтягиваться на турнике, но и висеть в интернете – мой отец не всегда мог оплачивать интернет. Перебирать журналы, брошюры, книги. Баттал, в отличие от меня, много читал. Если я писал партийные листовки, то он читал книги. Из книг торчали закладки. Он всовывал в книги расчески, стамески, сухие листья, бритвенные лезвия, и я однажды порезал себе ладонь, прямо на сгибе, долго заживало потом. Баттал только раз спросил меня о моей семье. Я отвечал коротко и зло: «Папаша – завод, станки, горячий цех. Я дою его, как корову. Мачеха – сволочь. Я убью ее когда-нибудь». Баттал склонил голову на плечо, и я видел: он размышляет, хохотать ему или сокрушаться. «Тебе девушка нужна», – наконец тихо сказал он.

И девушка у меня появилась.

Невзрачная такая девушка, и не то чтобы я ее специально

искал, – она сама подошла ко мне в богатом супермаркете, я слонялся меж роскошных витрин, глядел на французские копченые колбасы, на немецкие сыры с плесенью, на мексиканские ананасы, на пахучие пачки кофе из странной заморской земли Кот д'Ивуар. «Поднесите мне, пожалуйста, сумки! Я тут рядом живу. Я заплачу». Она приняла меня за работника магазина, сто пудов. Потому что я так медленно ходил, зырил, ничего не покупал. Хотя нет, я тогда хотел купить хлеба. Просто хлеба. Батон, а может, кирпич ржаного. Девушка подкатила тележку с продуктами к камерам хранения, открыла камеру ключом и горестно воскликнула: «Сумки украли! Я так и знала!» – «А что у вас было в сумках?» – утешающе спросил я. Она пожала плечами. «Да ничего особенного… шарф, две книжки библиотечные… пудреница французская, жалко… ах да, еще пирог с капустой, еще горяченький был, из кулинарии, это я тете…» – «Плюньте и разотрите, – сказал я бодро, – давайте я сейчас вам все это унесу. Спокойно, только не смейтесь». Я стащил с себя косуху, связал ей рукава. В эту кожаную чудовищную авоську мы сгрузили все купленное, я взял косуху за капюшон, она – за полы, и так, со смехом, потащили всю эту жратву к ней домой. Дверь открыла старая седая тетка. «Тетя Гета, – с порога слезно закричала девушка, – мы тару потеряли!» – «Мы? – насмешливо спросила старуха. – Ну-ну. Вы, чаю будете?»

Мы пили чай, и я под столом нажимал ногой на ногу де-

вушки. Она отдергивала ногу, проливала на скатерть чай и смеялась, будто ее щекотали. Она назвала свое имя, и я тут же его забыл: то ли Нина, а может, Нюта, а может, Неля. Я взял у нее телефон. Через пару дней я назначил ей свидание в комнатенке Баттала. Я смущенно попросил Баттала погулять где-нибудь часок-другой. Он все понял и довольно рассмеялся: «Все идет по плану!» Она пришла, оглядывалась, спрашивала: «А ты что, исповедуешь ислам?» Она думала, это моя квартира. Я ее не разубеждал. Да, кивнул я, исповедую, а что, нельзя? Она разделась быстренько, так раздеваются перед врачом: осмотрите меня, дядя доктор. Я так ее захотел, что даже не стал снимать джинсы, только расстегнул. Слишком худая, длинная, ручки как спички, ножки хоть сейчас на подиум, и плечи как у моделей этих недокормленных, деревянной вешалкой торчат. Мне казалось, я слышу, как подо мной скрипят ее кости. И все у нее там, в глубине, было как у всех, мокрое, горяченькое, пирог с капустой.

Мы встречались часто, и я к ней привык. И она ко мне привыкла. Она вслух выбалтывала мне свои мечты, мыслишки о том, как пройдет время, и мы все равно поженимся и будем жить вместе. И к этим типичным бабским мыслишкам я потихоньку привык. И сам мечтал вслух, выдыхая ей эти мечты под спутанную прядь длинных сивых волос, в настороженное ухо: у нас будет машина, роскошная иномарка, Ауди, нет, лучше Альфа-Ромео, нет, лучше Феррари, нет, лучше всего Бьюик, у нас будет шикарная вилла за горо-

дом, прямо на берегу Волги, а еще лучше на Керженце, там тайга и грибы, а еще лучше на Кавказе, подумаешь, лететь три часа всего, зато там абрикосы, персики и мандарины; а еще у нас будет породистая собака, доберман-пинчер, хочешь такую?.. не хочешь?.. тощая, гадкая, бесхвостая?.. ну тогда лучше ньюфаундленд, она мохнатая и добрая, а еще лучше сенбернар, он огромный и еще добрее, он спасет тебя в снежных горах, если ты там заблудишься, нет, ты будешь съезжать на лыжах с горы и подвернешь ногу, и заплачешь, а сенбернар прибежит и ухватит тебя зубами за воротник и потащит в больницу. А еще у нас буду дети, мальчик и девочка, да? или сколько ты хочешь? троих, четверых? сейчас модно иметь много детей. Дети, это же изумительно! Они будут жить роскошно, как сыр в масле кататься, они ни в чем не будут нуждаться, не то что мы, и будут свободно говорить на трех языках и купаться в теплом океане. Да, знаешь, лучше всего дом у океана! Ты хочешь дом у океана? И чтобы прямо к ногам подкатывал прибой? Что, боишься плавать? Боишься утонуть? А что ты всего боишься? Боязливая какая!

Она протягивала тонкую руку, вслепую, за закинутой на подушке головой, нашаривала на столе Баттала пачку сигарет, зажигалку и закуривала. Она курила и сильно кашляла, и я опасливо думал: чахоточная. Мы говорили о будущем, и я ни капли не верил в это будущее. Мы говорили о нем просто для того, чтобы говорить красивые, хорошие вещи.

Правильные вещи. Молодые люди, что спят вместе, должны говорить о таких вещах, это правильно. Это прилично. А я был неприличный. У меня было неприлично мало денег. Вернее, у меня, неприличного донельзя, их не было совсем. Чтобы купить своей девушке то, се, пошлой мелочевкой – духами, трусами – порадовать ее, я потрошил, как обычно, отца. Отец, дай пятьсот! Отец, дай тысячу! Куда тебе? Мне нужно! У меня девушка! «У меня девушка, мне нужны деньги!» – злобно кричал я, когда отец выворачивал пустые карманы и хлестал по моим щекам наискось ненавидящим, выжженным взглядом. Однажды я разозлился. И выпалил ей в близкое, на подушке, лицо: «У нас ничего не будет, ни виллы на Канарах, ни горных лыж в Куршавеле, ни дома на Карибах. Ни собаки, ни детишек, ничего. У нас будет вот эта чужая хибара, и чужой диван, и бутерброд из чужого холодильника, и чужие сигареты. А потом последняя ссора и расставание. Вот что у нас будет». Я удивился, но моя девушка выслушала это спокойно. Не заорала, не зарыдала. Вообще как будто все это ее не касалось. Я заподозрил, что она думает о ком-то другом, таким отрешенным, светлым сделалось ее тонкое, будто нарисованное пушистой кисточкой лицо. Я сказал: «Прости, наговорил я тут». Она молчала. Как глухая. Я попытался ее поцеловать. Она медленно отвернула лицо. Сам не знаю почему, но я вдруг вспомнил ту официантку, в мотеле у дороги.

Встречи с девушкой, потерявшей капустный пирог, посте-

пенно сошли на нет. Она еще звонила мне, я еще мог слышать ее тонкий голос по телефону, и, когда она скупо и плохо мямлила в трубку очевидные вещи, мне казалось, что птица скребет меня по щеке голодной лапкой. А Баттал сообщил мне, что женится. Вот как бывает: ты отлюбил, а друг женится. Любил ли я мою девушку? Конечно, нет, ни минуты. Я просто хотел любви и играл в любовь, я любил игру в свою любовь, собственную плохую игру, а потом, нам обоим хотелось всласть трахаться, как всем в нашем возрасте. Что удивительно, после того, как мы с ней расстались, я не хотел трахаться ни с кем. Как отрезало. Я испугался, уж не импотент ли я. Я побеседовал на эту тему с Батталом. Он, вися на турнике, наставительно сказал: «Выкинь мусор из своей головы». Я отвечал, что не хочу плодить серость и длить скуку. Баттал со мной согласился. Разжал руки, спрыгнул с турника: «Надеюсь, на мою свадьбу придешь?»

Как я мог не прийти? Это был сумасшедший дом. Праздничное сумасшествие. Все вперемешку: женщины в цветных хиджабах и девки в коротких юбчонках, все ляжки на виду, русские огромные, во весь стол, пироги и исламская эта, вечная жареная баранина, торчащая посреди стола на гигантских вилках, как на крестьянских вилах; прозрачные белые платки вились и опадали, пол забрасывали цветами, и живыми и бумажными, перебили кучу стеклянной и фарфоровой посуды и уже пили из одноразовых стаканов, лакали, как собаки, из опустелых мисок. Сладости запихивали в рот ру-

ками. Все смеялись, блестели зубами, говорили, как пели. Но и пели тоже. Кто-то взлез за стул и громко читал суры Корана. Может быть, это был Баттал, не помню. Невеста сидела скромно на краешке дивана, так легко сидела, вот-вот взлетит, и тонко улыбалась. Одними губами. Зубы не показывала. Я исподтишка разглядывал ее. Белым атласным хиджабом было обвернуто ее нежное, тонко размалеванное хорошей косметикой лицо. Под хиджабом я не видел ее волосы, ее шею, ее грудь. Все закрывал белый атлас, как землю – снег. В углу рта тонко, дразняще блестел узкий пирсинг. Будто рыбья чешуя ко рту пристала. Кровь забилась у меня над бровями, в висках. Вдруг из-под ее колен, я даже вздрогнул, выкатились два шара. Эти шары были детские головы. Абсолютно одинаковые. Я подумал, у меня от выпивки в глазах двоится. Головы детей я видел, а туловища не видел. Будто они, отрубленные, катились над дощатым истоптанным полом. Чей-то веселый голос прокричал: «Нарушаем традиции! Ислам на свадьбе запрещает пить вино!» Ему ответил другой голос, чуть ниже, басовитее и наглее: «А нам плевать на твой ислам! Даешь русскую водку!» Чьи-то руки внесли поднос, на нем стояло блюдо с беляшами и откупоренные бутылки «Гжелки». Невеста медленно повернула голову. Окинула большими темными глазами поднос, водку, беляши, стол, пустые бутылки, гомонящих гостей. Я видел: ей тоскливо. Но она не подавала виду. Не стирала улыбку с лица.

Я зажмурился и потряс головой, чтобы отогнать виденье. Но детские головы катились прямо ко мне. Когда они подкатились ближе, я увидел, что у детей есть животы, руки и ноги, все есть, что нужно. Со вздохом облегчения я положил обе руки им на головы. Один мальчик, другая девочка. Похожи, как два яйца. Зачем они здесь? Кто их привел? Я наклонился к теплым, нежным головенкам, вдохнул запах полыни и молока, струящийся от них, и спросил тихо: «А вам не пора ли спать?» Мальчик поднял ко мне личико, и меня обожгли его черные, чуть раскосые глаза. «Пора, – важно и нежно сказал он, – наша мама скоро уведет нас в спальню, и мы там будем спать. У нас две кроватки, одна внизу, другая наверху, как в поезде». – «А где ваша мама?» – спросил я, не предвидя ответа. «Вон наша мама», – и мальчик показал маленьким острым пальчиком на невесту Баттала в белом хиджабе.

Я молчал. Слова провалились в яму времени.

И это время я еще не прожил.

Да никто из нас его еще не прожил.

«Правда, наша мама красивая?» Это спросила девочка. Она трясла меня за штанину, требуя ответа. Я кивнул, не понимая, что киваю. Гости распоясались окончательно. Человек армянского вида, животастый и волосатый, сдернул рубаху и пустился в пляс. Баттал изо всех сил бил пальцами по гитарным струнам. Голоса пытались слиться в песенный хор и тут же разваливались, рассыпались на мелкие звон-

кие стекляшки. Открыли окно, и крики пополам с музыкой вывалились на ночную улицу, метались между фонарей, скорбно, как свечи на поминках, горящих в зимнем тумане. В нашей стране всегда зима. Отчизна – зимняя страна. Всегда этот зверский холод, и внутри тебя кости звенят друг об дружку. И ты хочешь вина, водки, печки, костра, газовой плиты, женского тела, горячего этого, навек потерянного пирога с капустой, лишь бы согреться. Есть дворец-холод, и в нем надо каждый день праздновать праздник-огонь. Иначе можно сдохнуть. Наполеон привел к нам войска – французы все передохли. Гитлер навалился целым отлаженным, железным вермахтом – все сдохли все равно. Да, и мы устлали поля мертвецами. Но все же это мы взяли под Сталинградом армию Паулюса в кольцо, а не они нас. И это мы мочили немчуру на Курской дуге и на Днепре, а не они нас. И все вранье, что мы в начале той войны отступали как цуцики: даже в сорок первом году мы все равно били немцев, еще как били. Хоть Сталин и приказал расстрелять пару-тройку генералов, для острастки: а чтобы стояли насмерть.

Мужчина и женщина, это тоже война. Свадьба, это же поле боя. Я чувствовал: надо защищать в этом крошеве дикого праздника бедных детей, а то на них в пляске кто-нибудь наступит и раздавит. Я подхватил мальчишку и посадил себе на колено. Девчонку тоже приподнял под мышки, посадил на другое. Так они оба сидели у меня на коленях, и я бегал глазами туда-сюда – ну надо же, как природа сработала, од-

но лицо! Нет, они все-таки отличались, вру. Конечно, отличались, и еще как. Мальчик сдвигал брови, они у него срастались на лбу. Брови девочки разлетались в стороны, к вискам. Девочка сложила сердечком маленький ротик, вздохнула и сказала: «Дядя, ты хороший, поцелуй меня». Ишь ты, маленькая женщина, подумал я! Наклонился и поцеловал ее. В эти розовые, цветочком, губки. А потом в кончик носа. «Меня тоже!» – завопил радостно мальчишка. Я дал ему легкую подзатрещину. «Мужчины не целуются. Они пожимают друг другу руки. Вот так». Я осторожно пожал ему крохотную ручонку, боясь раздавить ее в своем окрепшем от протеина и гимнастики кулаке. Он долго тряс мне руку, смеялся и кричал: «Мы как короли! А целуются – принцессы! Пусть они целуются!» – «Да, пусть они целуются, – поддакнул я, – а мы будем воевать».

Щека моя загорелась. Ее ожег взгляд. Я вздернул голову. Невеста смотрела на меня во все глаза. Слишком большие у нее были глаза, до противного. Потом она прикрыла их накрашенными веками. Ее лицо с закрытыми глазами из складок снежного, ледяного хиджаба торчало, как мертвое, как замороженное. В ушах у меня стоял свадебный гул, и вдруг наступила тишина.

Может, я просто упал спиной на диван и мгновенно уснул, и по мне шаловливо ползали близнецы и тормошили меня. А может, что-то такое со временем случилось, не знаю.

Со временем точно тогда что-то случилось. Оно стало с тех пор сжиматься все плотнее и бежать все быстрее. И внутри меня какой-то плотный горячий, кровавый ком весил все больше, становился все тяжелее и оттягивал мне ребра, и давил на печень и селезенку.

Баттал переехал из своей каморки в новую хату. Перевез туда шведскую стенку, турник и коня, и мне больше негде было накачивать хилые мышцы. Они теперь жили далеко, за рекой, к ним надо было ехать на двух автобусах, потом идти пешком с километр мимо заброшенных заводов, короче, головная боль, не накатаешься. Но зато мы созванивались каждый день. Он привязался ко мне, я к нему. Жена не помеха. Дети эти чужие тем более. Я спросил Баттала: «Близнецы-то к тебе как, привыкли?» – «Мгновенно, – засмеялся он, – с самого первого дня папой стали звать». В его голосе звучали похвальба и гордость. Я даже позавидовал.

А потом Баттала закопали.

Ну так, очень просто, закопали. Положили в гроб и закопали. Далеко, у старых пристаней, в безлюдном районе, там торчали, чернотой посреди зимы, сожженные деревянные дома, а за ними застыли деревянными дворцами чудовищные, громадные старые дебаркадеры, эти опустелые пристани вмерзали в лед и призраками плыли в паутине мороза, и плыл по берегу длинный стеклянный утюг казенного дома, его все почему-то называли Сумасшедший дом. В Сумасшедшем доме сдавались комнаты под офисы, вечерами пе-

ред плохо освещенным подъездом собиралась местная шпана и распивала водку, а ночами на пустых пристанях насиловали зазевавшихся девчонок и уталкивали в проруби, под лед. Потом, по весне, трупы вылавливали уже далеко от города, течение уносило их.

Раздался звонок, я не мог ответить сразу – чистил на кухне картошку, руки грязные. Мачеха лежала в больнице, иной раз она притворялась, что у нее сердце болит; отец работал на своем грязном заводе, а мне до смерти захотелось жареной картошечки. К картошечке у меня были запасены водка и селедка – отец, как всегда, уходя на завод, оставлял мне деньги, подсовывал их под горшок с колючим цветком. Иногда мачеха эти деньги воровала и шипела на меня: «Спиногрыз!» Телефон надрывался в кармане, а я все двигал и двигал ножом, и все разматывалась серая грязная кожура под моими черными от земли пальцами. Звонок не умолкал. Я выругался, кинул нож в мойку, сладострастно и мстительно обтер руки о мачехин халат, висящий на спинке старого венского стула, и сунул руку в карман. Выловил телефон, как скользкую рыбу. Завопил: «Але! Баттал! Але!» Трубка трещала и квакала. Голос пытался пробиться сквозь слои грязи, почвы, воды, снега, угля и туч. Все они скопом рушились на один жалкий голос и давили, терзали его. Я орал: «Але! Баттал! Але! Я тебя не слышу! Перезвони, что ли!» И вдруг я услышал дикий далекий крик – сквозь весь треск и шум, поднимавшийся со дна земной преисподней: «Фимка!.. Я!..

Меня!.. Похоронили!.. Слышишь!.. Я!.. В гробу!..»

Я ушам своим не поверил. «Где ты, где?!» – «В гробу, говорю тебе!..» – «Да где, дурак! На кладбище?! Тебя что, закопали?!» – «Да!.. Меня!.. Закопали!.. У меня телефон… был… они… не вытащили!.. Не… догадались!.. Фимка!..» – «Где ты, идиот, говори быстрей!» – «Я не знаю!.. Они… завязали мне!.. глаза!.. когда везли!..» Я набрал номер сотового оператора Баттала. Через несколько минут мне позвонила девушка с голосом острым, как лезвие. «Указанный номер находится… записывайте дом, улицу, район…» Я записал улицу и район, нашел на карте. Ага, около Сумасшедшего дома. Я рванул туда. Автобусы еще ходили. Картошка моя накрылась. Водку я тщательно припрятал. У меня был тайник в холодном шкафу под окном – я закладывал его парой кирпичей, его мачеха еще не обнаружила. Я держал там золотой медальон, стащенный с истошно визжащей девчонки в ночном сквере, серебряный слиток с дыркой – парни говорили, серебро высшей пробы можно хорошо продать, – я его тоже украл, у старика, что любил летом забивать козла во дворе с другим старичьем, пять тысяч рублей, это я у отца украл, прямо из кошелька, пока он спал, уже давно, он сокрушался: я потерял на заводе, я разиня! – но на самом деле, я видел это, он прекрасно догадался, что это я взял: он так выгораживал меня перед самим собой. Одним словом, в холодном тайнике я хранил все свое самое драгоценное. Вещи, что такое вещи? Мы сдохнем, а вещи не сдохнут. Но,

если мы сдохнем, мы уже не будем видеть их и осязать их. И радоваться, что они у нас есть. Значит, они изначально бесполезны.

Я утолкал в тайник бутылку, она туда втиснулась с трудом. В вонючем автобусе долго трясся по правому берегу реки, потом по мосту, потом по левому берегу. Автобус выехал на простор, и впереди сверкнула железная ночная вода. Я зажмурился. Воду будто мощные прожекторы освещали, а это была огромная полная луна. Я чуть не ослеп. С трудом в полумраке читал названия улиц. Где эта улица, где этот дом? Песенка была такая, из старого фильма, что ли. Я выхватил телефон и набрал номер Баттала. «Ты там не задохнулся?!» – «Уже… задыхаюсь!» Я, громыхая берцами, вперевалку бежал к Сумасшедшему дому. Оставалось только найти свежий раскоп. Я бегал вокруг Сумасшедшего дома, сам как сумасшедший. Так бегают ищейки, когда им командуют: «Ищи!» Задел носком берца за горку сырой земли – и растянулся на земле, лежал, скрючил пальцы, вцепился в землю и нюхал землю, и правда как собака. Здесь!

Никакой лопаты у меня не было. Я рыл землю руками. Земля летела из-под скрюченных двумя черпаками моих крепких рук в разные стороны. Я потел, пыхтел, и, кажется, плакал. Яма углублялась очень медленно. Холодная земля обжигала руки. Руки скоро стали красные, как морковь. Мне показалось, из них вот-вот брызнет кровь. Потом я их уже не чувствовал, они целиком превратились в бесчувственные

лопаты. Я копал и копал. Телефон разрывался у меня в кармане. Я понимал, это звонит Баттал, но мне было некогда ответить. Я проорал, стоя уже по колено в яме: «Баттал, терпи! Я тут! Я раскопаю тебя!» Телефон умолк. Он услышал меня. Я рыл и рыл. Мне казалось, я рыл землю уже носом, как свинья. Наконец ногти мои зацепили дерево, и под ноготь воткнулась заноза. Я заорал и чертыхнулся. Надо было вскрыть заколоченный гроб. Да никакой это был не гроб, а просто огромный деревянный ящик, из-под какого-нибудь груза, – обычная торговая тара. Я поднял ногу и пяткой тяжелого берца изо всей силы двинул по доске. Она треснула. Я отогнул одну половину разломанной доски, затем другую. В щели я увидел лицо Баттала. Оно было страшно. Распухшее, синее, все перемазанное землей. Я разломал еще одну доску, и еще, и еще. В такой проем можно уже было вылезть. Но Баттал лежал недвижимо. Лежал, закрыв глаза. Я вдруг понял, как они с его женой похожи. «Баттал, – хрипел я, – ну что же ты, давай, вставай!» Он валялся, будто не слышал меня. Я догадался: он уже был без сознания. Тогда я стал выцарапывать его из этого чертова ящика, тащил вверх, мышцы на моих тощих руках вздувались от ужаса, все-таки он был очень тяжелый, накачанный, а я, ну какой из меня качок, смех один. Я вцепился зубами в воротник его куртки и так тянул – зубами и руками. И даже коленом помогал, подсовывал колено под его бесчувственную спину.

Вынул я его из этого гроба. Уронил на землю и сам рядом

упал. Так мы лежали вдвоем – я и он, оба в земле, только по мне в три ручья тек пот, а он лежал тихий и холодный. Я понял: если я сейчас же его не оживлю, он умрет. Я заставил себя подняться: сначала оперся на локти, потом навис над Батталом, приблизил губы к его губам, приник к ним и стал выдыхать ему в рот воздух из себя. Кажется, еще на грудь нажимают, заставляют сжиматься и разжиматься ребра, и сердце заводится. Надо завести мотор. Я ритмично надавливал на его широкую грудь. Мне казалось, ребра трещали. Я боялся их сломать, но продолжал так делать. Опять вдувал воздух из своих легких в его легкие. Со стороны казалось: двое парней целуются взасос. Мои холодные ладони что-то поймали. Биенье сердца. Раз, другой, и еще, и еще раз. Ноздри Баттала задрожали. Он стал дышать, громко и хрипло. Глаза его все еще были закрыты. Я шлепнул его ладонью по щеке и заблажил: «Баттал! Ты живой! Радуйся!» На слове «радуйся» он разлепил глаза. А меня вдруг охватило такое наслаждение, гордость и торжество, все это просто распирало меня изнутри, я блаженствовал и торжествовал, и я вдруг постыдно кончил, прямо сидя на нем, на его бедрах, и я весь вспотел, я весь был как из бани, и руки мои были уже не твердые ржавые лопаты, а жарче жареных рыбьих хвостов на раскаленной сковородке.

Так я понял, что оргазм бывает от простой чистой радости, от того, что вот был человек мертв, а ты его оживил, – ну не оттого же, что я ритмично двигался и вспотел, это бы-

ло бы слишком просто и пошло. Я сидел на Баттале весь мокрый и хохотал, а потом сполз с него, сел рядом с ним, взял его за руку, крепко держал его руку и молчал. Слушал, как он дышал. И сам насилу отдышался от этих трудов. «Куда едем, – спросил я его, когда он повернул ко мне синюшное, опухшее лицо, – в больницу? Я вызову скорую». Он помотал головой. Из его раскрытых грязных губ, из-под подковки зубов выполз червь длинного хрипа: «Не-е-е-ет… ни в какую не в больницу… домой… только домой… к Раисе…» – «Ты сесть можешь? Ты идти можешь? Ну ведь нет, не можешь!» Я еще что-то спрашивал его, тормошил, он не отвечал. Я расстегнул его куртку, его рубаху – он был весь избит, просто измолочен, живого места не было. Было ощущение, что его били не кулаками или ногами, а железными прутьями и гирями. Я встал, еле-еле поднял его, подхватив под мышку, закинул обе его руки себе за плечи, взвалил его себе на спину и так, приседая от его железной тяжести, поволок к автобусной остановке. Носки его башмаков волочились по грязи и снегу.

Не помню, как мы доехали. Но ведь добрались. Водитель маршрутки косился на нас: он думал, я везу вусмерть упившегося мужика. Я высыпал водителю в кошачью миску всю мелочь из кармана и горделиво, как в ресторане, сказал: «Сдачи не надо». Доковыляли до дома Баттала. Я волок его все так же, на сгорбленной своей спине, он стонал. По лестнице поднимались целый час, я отдыхал через каждые три

ступеньки. Задыхался. Мне чудилось – я сам сейчас окочурюсь, и меня положат в такой же грязный огромный дощатый ящик. Постучал в дверь ногой. Руками крепко держал висящие на моей груди двумя плетьми руки Баттала. Послышались торопливые шаги, и дверь открыли. Его жена стояла на пороге, как парковая скульптура – белая и безмолвная. Она и дома ходила в хиджабе. Я бросил ей: «Посторонись», – и втащил Баттала в дом, и ногой захлопнул дверь. Близнецы выбежали навстречу. «Папа, папа!» – заверещали они, милые зверьки. Я дотащил Баттала до дивана, обернулся к его жене и выдохнул: «Раиса, набери ванну. Не горячую, теплую. Его надо обмыть, потом обработать раны. Он же весь грязный».

Она молча бросилась в ванную комнату. Я услышал журчанье воды. Мальчик подошел к дивану и осторожно потрогал пальчиками раздутое синее лицо Баттала. Он шептал: «Папа, папа, что с тобой? Почему ты молчишь? Почему ты спишь?» Мы с его женой вместе раздели его и вместе, голого, перенесли его с дивана в ванну. Опустили избитое тело на дно ванны, и вода вылилась через край. Его жена молча подтирала лужу тряпкой, и я смотрел на ее выпяченный зад. Баттал стал сползать в воду и едва не захлебнулся, мы вовремя поймали его, и я держал его голову над водой, пока женщина намыливала его. Провозились мы долго. Чистого, так же осторожно вынули его из ванны и перенесли на кровать. Его жена щупала суставы его рук и ног – не слома-

ны ли. Он открыл глаза и шарил по нас глазами. Кажется, не узнавал. Может, ему отбили мозги, а может, напоили какой отравой. «Он должен уснуть, – сказал я, – раны хорошо бы протереть водкой. До свадьбы все заживет. Я имею в виду, до свадьбы ваших детей». – «Это не его дети», – деревянно сказала его жена. «Ну какая разница, все равно сейчас ваши. А может, позвонить в МЧС?» – «Я никуда не буду звонить», – так же жестко, деревянно сказала она. Ее голос ломался и трещал, как та гробовая доска под моим разъяренным берцем. Я повернулся и пошел, и, когда я уже дошел до двери, его жена схватила меня сзади за край косухи. «Стой, куда ты пойдешь? Пешком через весь город? Уже двенадцать ночи. Я постелю тебе рядом с Батталом, на полу».

Она бросила на пол матрац, на таких спали наши бабки – полосатый, прошитый грубыми нитками, усеянный смешными белыми бантиками. Расстелила чистую хрустящую простыню. У них в доме было все чисто, все блестело, как масленое, как под солнцем, эта женщина, судя по всему, была невероятная чистюля, все терла, мыла, гладила, настоящая жена, такую и надо было заиметь веселому Батталу. «Есть хочешь?» – спросила она меня. Из кухни ползли соблазнительные запахи. «В двенадцать ночи, не поздно?» – спросил я. «Погоди, уложу детей», – сказала она. Мы разговаривали, как два робота. Она взяла за руки детей и увела их в спальню. Вернулась очень быстро. «Так быстро уснули?» – «Да. Они засыпают мгновенно, только голову донесут до подушки

и уже спят». Женщина принесла мне из кухни на большом блюде странные длинные пирожки, присела на корточки перед моим матрацем и нагнула голову. «Что это?» – «Ешь, это вкусно. Потом принесу запить». Я откусил от пирожка. Внутри оказалось рубленое мясо, жареный лук, рубленые яйца и кусочки красного перца. Я ел, и душа пела, рядом с избитым, вытащенным из гроба другом. Его жена смотрела, как я ем, и тут она вдруг улыбнулась. Я впервые увидел в улыбке ее зубы. Зубы были ровные, крупные, дикие, красивые. С такими зубами только в кино сниматься.

Я смолотил пирожки за милую душу. Она унесла пустую тарелку и принесла мне попить – в большой, как ночной горшок, кружке плескался компот. Я опрокинул в себя компот, улегся на матрац и растерянно спросил: «А где же подушка?» Она вспыхнула. Ей было стыдно. Унеслась вихрем в спальню, выбежала и подоткнула мне подушку под голову. Я перекатил голову по подушке, туда-сюда. И тут она вдруг встала на колени, схватила мою руку и припала к ней губами. Жесткие, горячие губы, а я думал – нежные и мягкие. Ее пирсинг, продетый сквозь нижнюю губу, ожег мне осколком льда кожу. «Спасибо тебе, спасибо», – прошелестела она, встала и быстро вышла. Наверное, она пошла к детям. А может, мыться, не знаю.

В ту ночь я спал как у Христа за пазухой, если бы верил в Христа и знал, какая такая там у него пазуха. Теплая, сытая, мирная. Там нет смерти. Там есть любовь, покой и семья. Я

спал внутри любви, в первый раз в жизни. Но тонкая тревога точила меня изнутри, тыкала в меня невидимой острой иглой. Я совершенно не знал, что будет со мной завтра. Что будет со всеми нами.

Наш мир был так устроен, что мы все ничего не знали о завтрашнем дне. Его просто не было.

А нам всем казалось, что он приходит.

Тупые, глупые скоты. Он не приходит. Это только кажется, что приходит. Его нет, а все мы в него верим, не хуже, чем в Бога. А ты только посмотри, дурак, да это же не завтра, и даже не сегодня, это вчера, ты застрял во вчера, и ты из него не стронулся ни на палец. Ты уже жил на свете, ты уже отжил свое, а тебя пихают кулаком в спину, толкают: вперед! вперед! труба зовет! Ты должен то, должен это! Запомни: ты никому ничего не должен. И меньше всего ты должен своему миру. Своей земле.

Своей грязи, ты в ней живешь, ты перепачкан в ней, но она же такая родная, она же твоя, ты же должен верить в нее, хоть тебе и верить-то нечем, вера твоя истрепалась, повыцвела, ее изрезали ножами в подворотнях и избили на площадях железными прутьями. А ты так хочешь верить! Без веры-то, оказывается, ни туда ни сюда! А во что же тебе верить, щенок? Ты! Щенок! Не визжи! Лучше возьми след! Кто это тут только что прошел? Чьи это грязные сапоги? Чьи это берцы, чьи шины, гусеницы? Мир, ты слишком хлипкий, и ты сдохнешь в любой момент! Это идет война, это ее по-

ступь. Я слышу ее. Я – вижу ее! А вы что притворяетесь, что не видите? Шире глаза распахните! Как двери! И впустите этот гул, этот дым! И увидите!

Я спал рядом с вынутым из-под земли Батталом, в его счастливой квартире, рядом с его счастливой женой и счастливыми детьми, и во сне я плакал оттого, что я, гаденыш такой, обалденно несчастен и что мне надо, кровь из носу, возвращаться в свою несчастную квартиру, к злюке-мачехе и к тряпке-отцу, а может быть, я плакал от счастья, и на языке у меня таял мусульманский дивный пирожок, и мне снился сон про войну.

Баттал хворал долго. И долго не мог выйти на улицу. Он боялся. Боялся, что опять нарвется на тех, кто его изувечил и заживо похоронил. Так и сидел дома. Тонул в интернете. Как он добывал деньги, непонятно; может, каким-нибудь хитрым интернет-промыслом; он мне никогда не говорил об этом, только время от времени подсовывал деньги – я отказывался, он смеялся и небрежно засовывал мне их в карман: «Я же знаю, ты голодаешь, нельзя голодать». Жене он работать не позволял – мусульманская жена должна сидеть дома и растить детей.

Я советовал ему заявить в полицию, чтобы найти тех, кто избил и закопал его. Он мотал головой: «Не хочу. Я знаю, они меня сами найдут».

Его нашли не его убийцы. А совершенно другие люди.

Это было в дни, когда в Испании террористы взорвали пассажирский поезд, и почти сразу же взлетел на воздух огромный рынок в Ираке. Люди рыдают, полиция растаскивает трупы, сирены «скорой помощи» вопят и плачут, ну что, эта необъявленная война всё продолжается, мы никуда не денемся от террористов, они были, есть и будут. Да, и раньше они так же взрывали, резали и расстреливали; точно так же. Просто сейчас они расплодились, как кролики. А Восток – издавна земля крови и ужаса, мусульмане всегда неверным объявляли газават, джихад, войну не на жизнь, а на смерть; новый век начался с того, что самолеты прошили насквозь башни Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке, а потом началось, и пошло, и поехало: взрывали вокзалы и аэропорты, подкладывали бомбы на многолюдных рынках, взлетали на воздух автобусы и танки, зрительные залы знаменитых театров, люди, с вываленными потрохами и распяленными в крике ртами, ползли по ступеням белых пристаней, падали наземь расколотые бомбой пополам самолеты; и чертовы террористы додумались даже до того, чтобы минировать школы и расстреливать детей в детских садах. Кто же мы все после этого? Покорный скот? Или за подвигами безумных шахидов все же кто-то, что-то важное, святое стоит? Где же тут святость, в смерти и крови, в мешанине кишок и воплях матерей над телами детей? Какая, к черту, святость? Но тут же я думал о том, что вот велись же века, тысячелетия религиозные войны. Гремели крестовые походы.

Воины Кортеса сжигали на площадях под священными пирамидами индейцев, обкрученных веревками и цепями, как вязанки дров. Люди перегрызали друг другу глотки за своих богов. И поющие сладкие псалмы христиане за милую душу убивали опять же неверных – тех, кто не верил в их сладкого доброго бога. Так почему же мусульманам нельзя сражаться за свои идеалы? За своего великого Аллаха? Вот они и сражаются. Каждый сражается как может. И гибнет как умеет.

Но все равно, куда ни кинь, везде клин, мне было все это отвратительно, эти взрывы с поленницами трупов, эти самолеты с последними, дикими людскими криками. Тошнотворно, да, гадко, но, если честно, как же притягивало меня это все! Как водка: пить противно, а глотнешь – хорошо и жарко. Я лез в интернет и выискивал новомодные видео, где маленькие детки, чуть постарше близнецов Баттала, взвивали остро наточенные ножи над шеями коленопреклоненных людей, а рядом море лизало покорным, жалким языком прибоя грязный песок, и вот сейчас, через мгновенье, серый песок зальет кровь, пропитает весь, как вино – соль. Я просматривал эти жестокие видео жадно, по многу раз – я хотел с макушкой окунуться в жестокость, понять, что же она такое. Она – мать войны? Она врождена человеку? Или, может, человек сам себе ее выдумал, чтобы лучше понять, что такое добро?

А может, он просто наслаждается чужой гибелью, как хорошим вином, жареным мясом? Смакует ее? Я вообще обо-

жал глядеть жестокие фильмы. Играть в жестокие игры. Я понимал: фильм – ненастоящий, игра – неправда, все это выдумка, хитрости режиссера, уловки дизайнера, клюквенный сок, малиновый сироп. Но, наблюдая, как на экране щедро течет этот клюквенный сок, как мерцают, притворяясь вываленными из брюшины потрохами, невинные давленые томаты, я говорил себе: завтра начнется война, и завтра я увижу настоящую кровь, ею будет залито все, асфальт городов, лестницы зданий, трава и земля и лед и снег, и реки станут красными от крови, и звери будут оглушительно вопить, видя, как умирают они сами и их дети; и человечьи дети будут кричать, как звери, от боли и ужаса, от того, что мир уже не вернуть. Когда я, особенно поддатый, рассказывал Баттале о своих видениях, он хлопал меня по плечу и кричал: «Чувак, да ведь это ваш Апокалипсис!» – «Какой это наш?» – «Ну, ваш, христианский!» – «Я не верю в Христа». – «Все равно ваш!» Я не знал такого мудреного слова. Я понял лишь одно: пребывая внутри жестокости, ею можно наслаждаться так же, как, к примеру, любовью. Если ты лишен любви, ну, даже просто секса, – ты идешь на улицу, залавливаешь, как курицу, девчонку, затаскиваешь ее в подворотню, взнуздываешь ремнем от твоих джинсов и жадно насилуешь, а потом сворачиваешь курице голову, чтобы она не раскудахталась на весь мир о том, что с ней случилось. Ты получил в награду свой оргазм – не только потому, что ты совокупился, а еще и потому, что ты унизил другого человека, женщину,

и причинил ей боль. Подчинить – это сладко. Те, кто испытывает боль, всегда подчиняются. А сладко владеть другим существом. Еще слаще – вот так владеть миллионами; можно спокойно понять и Гитлера, и Сталина, и всяких там подобных тиранов: они испытывали бесконечный оргазм оттого, что могли свернуть шею не одной курице в подворотне, а миллионам дрожащих кур по всей земле.

И, вот, предупреждаю, вы сейчас услышите совсем уж чудовищную вещь, держитесь там крепче за ваши стулья, столы, ноутбуки, смартфоны или что там еще, за все бирюльки, из которых вы, как рыбку из сети, лениво выуживаете этот мой рассказ, – я и сам сейчас скажу это вам и засмеюсь, просто зайдусь от смеха, – я хотел убить свою мачеху, а убил отца.

Может быть, я его еще не убил, не знаю, так я думал обо всем об этом тогда. Но дело было так. Я торчал у Баттала, ел бараний шиш-кебаб, чельпек и катламу – Раиса всего наготовила, она отлично готовила, пальчики оближешь, я, после моего вечного поста и мачехиных кислых щей, просто отогревался у них душой и телом, да, денег все это, понятно, стоило, и немалых, вся эта жратва, но я никогда не спрашивал Баттала, где он деньги добывает. У нас существовал такой негласный уговор. Я ел много, Раиса все подкладывала мне чельпеки, я хватал эти чудесные лепешки прямо у нее из рук, так собака хватает из рук человека кусок мяса. И толкал в рот, и жевал, и улыбался. Улыбалась и она. Да,

вот на такой бы я женился! Баттал сказал мне как-то: знаешь, Фимка, ведь Раиса старше меня, ну да это наплевать. Наплевать, кивнул я, еще как наплевать! «А на сколько старше-то?» – Он пожал плечами. «А пес ее знает». – «Ты что, ее паспорт не глядел?» – «Глядел, да забыл». Он то ли врал мне, то ли смеялся надо мной. Как-то раз я увидал ее за компьютером; ее руки бегали по клавиатуре, пальцы шевелились, как охотницы-змеи – бросок, еще бросок. Она сидела, чуть наклонившись вперед, как за штурвалом самолета. Хиджаб, как всегда, плотно обнимал ее лицо, формы дынной семечки. Ого, сказал я себе, ну ни хрена, гляди-ка, ты, может, вообще хакерша, а я-то думал, ты кухонная бабенка.

Настал миг, когда я этими чельпеками объелся. А Раиса, как назло, наготовила их как на Маланьину свадьбу. Баттал подмигнул мне: «То ли еще на Курбан-байрам будет, тут моя женушка вовсю развернется!» Я с трудом встал из-за стола, я чувствовал себя верблюдом, который нажрался впрок и все жиры отложил в высокие гордые горбы. От избытка чувств я наклонился, по-европейски церемонно взял руку Раисы и поцеловал ее. Ее узкая и нежная, как ее лицо, рука пахла подсолнечным маслом. Близнецы подбежали ко мне, облапили мои ноги с двух сторон и завизжали: «Ты уже уходишь, Фима?! Не уходи! Не уходи!» Я не хотел уходить. И кто знает, что бы было, если бы я остался. Может быть, я бы и не укатил ни на какую Украину. И не было бы всего того, что было потом, размоталось, как кошачий клубок.

Раиса, темно и призрачно глядя мимо меня, наложила мне с собой чельпеков в большой пакет. Она так часто смотрела: распахнув глаза до отказа, зрачки плыли мимо, радужки темнели страшно, опасно. Я сказал спасибо, прижал пакет с теплыми чельпеками к груди и хлопнул дверью, и ввалился в лифт. В лифте стоял пьяный дядька и расстегивал ширинку. Увидев меня, он матюгнулся и застегнулся. «Дотерпи до улицы», – сказал я беззлобно. Он нюхал воздух: чельпеки хорошо пахли. Я угостил его одним. Двери лифта уже открылись, я пошагал по вестибюлю. Услышал сзади: «Эй, парень! Над тобой черное облако висит! Вот ей-богу!» Открывая дверь подъезда, я еще слышал, как мужик вкусно чавкает.

Я добрался до дома уже поздно. Всегдашняя эта наша тьма, и вечный холод. Десять месяцев зима, остальное лето; десять месяцев тьма, а потом солнце поманит тебя, желтая сладкая лепешка, и снова канет в темный адов тандыр. Затарахтел ключом в замке. Ключ, к чертям, заело. Я пнул дверь ногой. И еще, и еще раз. Отец уже спал – он на завод вставал рано. Мачеха нигде не работала и могла спать когда захочет и сколько влезет. Я услышал ее шаги. Шаркали тапки. Тошнотный голос вспорол темный затхлый воздух: «Ефим?!» Я еле заставил себя буркнуть: «Я». Я не хотел ее видеть и слышать, но именно сейчас надо будет все это делать: видеть, слышать, нюхать, осязать, содрогаться от отвращения. Так, сосредоточься, сказал я себе, представь, что все это проис-

ходит не с тобой. Мачеха открыла дверь. Я глубже просунул руку в карман и понял: сигарет нет. И мне нечего будет ночью курить. А без курева я скоротать ночь не смогу. Я нырнул в гадкую просьбу, как в холодную зимнюю воду. «Дайте денег, пойду куплю сигарет, сразу блок». Я даже не ожидал, что из-за такой чепухи, блока сигарет, она так взорвется. Просто как фугасная бомба. Ее голос разлетался мелкими осколками и поджигал все вокруг – обои, занавески, шторы, старые потертые половики. «Вон! Денег ему дать! Посреди ночи! Какие такие сигареты он пойдет покупать?! Какие и где?! Да все сейчас закрыто давно! Да у нас тут круглосуточных лавок нет и не было! Да он пойдет в ночной кабак, возьмет там водки и будет потягивать, а потом притащится домой на карачках! И будет валяться на своей раскладушке и бормотать, бормотать! Бормотать и рыгать перегаром! Гена! Гена! Я устала так жить! Я не могу больше так жить! Я уйду! Соберусь и уйду!» Вдруг она глянула на меня абсолютно белыми, умалишенными глазами. Она догадалась. «А может, он лучше уйдет, а?! Пусть выкатывается! Покидает в чемоданчик вещички – и айда! Гена! Встань! Иди, полюбуйся на свое быдло! На его наглую морду!» Отец уже стоял за спиной мачехи в линялых, отвисших на коленях кальсонах. Он всегда спал и мерз, ему вечно было холодно. Он мерз, дрожал и трясся. И сейчас он стоял и трясся за широкой, как шкаф, богатырской спиной жены. «Гена! – орала мачеха. Цветастый халат расходился на ее груди и рвал-

ся на локтях, она вся моталась и дергалась, как белье на веревке под ветром. – Он клянчит денег на целый блок! Ведь это же жуть сколько денег! Сколько еды можно на семью накупить! А на вшивую пачку сигарет он не хочет?! Не хочет?! Не хо…»

Я не знаю, что со мной тут сделалось. Нет, я хорошо знал и знаю: я давно это все мысленно видел, этот выпад вперед, и занесенный кулак, и точный сильный удар, как камнем или даже топором, но рука-топор бывает только у дзюдоистов или мастеров каратэ, такой стальной твердости, и кулак опускается точно и жестко, и чужая ненавистная голова летит вбок и врезается в стену, а может, под таким ударом легко ломается шея, какой-нибудь там третий, четвертый или пятый шейный позвонок, и все, и дальше стараться не надо, все получилось с первого раза. Я быстро занес руку, и, видно, у меня так быстро и бесповоротно поменялось лицо, что оно, ужасное, веселое и оскаленное, звериным страхом отразилось, как в зеркале, в лице мачехи. Она даже не успела отпрянуть, присесть или завизжать – я ударил.

Она не успела, зато успел отец.

Он сунулся вперед, и мой кулак врезался в его голову. И это его голова, вместе с ним самим, полетела вбок и с размаху воткнулась в стену прихожей. Мне почудился треск. И будто бы из расколотой головы уже течет, стекает по стене та чертова материя, поганый наш студень, что мыслит, смеется и плачет – то, благодаря чему мы люди, а не волки. Уж

лучше бы были волки! Так было бы честнее. Отец сползал по стене, бессмысленно цепляясь ногтями за обои и процарапывая их до штукатурки, а мачеха, глядя лупоглазо и изумленно, оседала на пол рядом с ним, и тут меня захлестнула волна лютого ужаса и лютого стыда: что же я наделал, я же – убил! убил?! ну да, убил! и кого?! кого никогда, нигде и нипочем убивать нельзя! нельзя, слышишь ты, нельзя! «Нельзя, слышишь ты, нельзя», – шептал я себе, а ноги сами уже несли меня вниз по лестнице, я заплетался, спотыкался, падал, катился кубарем через ступени, ударялся о бетон головой, вскакивал, кусал губы до крови, а вот уже и улица легла под подошвы берцев, и я уже скользил и летел по ней, – и как вы думаете, куда я бежал, не помня себя от ужаса? Конечно, в штаб нашей партии!

Мне просто некуда было больше идти.

Вы спросите: а почему я не отправился обратно к Баттало? Надо и честь знать. У Баттала была своя семья. Жена и дети. Нагружать их своей персоной? Мозолить им глаза? Идти к ним жить? Дружить – это одно, а жить – другое. Я чувствовал разницу. Не помню, как пешком, в ночи, пересек город; в штабе сидел дежурный, а может, уже лежал и спал – на составленный в виде нищей кровати ящиков из-под арбузов. Я затрезвонил, дежурный открыл и воззрился на мое лицо, на котором вовсю гулял ужас. «Ты чё, Ефим, чё ты среди ночи?» – «Ничё, Заяц. Терпимо. Просто давай я за тебя подежурю?» Дежурный, по прозвищу Заяц, с зубами как у зай-

ца и с жидкой челкой, белой как снег, анфас смутно напоминал Гитлера. Усиков только не хватало. Он догадался, что все непросто. «Да валяй. Можешь хоть тут пожить. Я скажу Гауляйтеру». Я обрадовался сверх меры. Будто меня обняли, приласкали и дали мне теплый пирог. «Да, Заяц, будь другом, скажи». И я заплакал от радости и жалости к себе.

Гауляйтер явился на следующее утро. Ночь я не спал, курил. Гауляйтер брезгливо понюхал воздух и строго сказал: «Живи, Фимка, не вопрос, только не смоли так рьяно, пожалей людей, а?» Я кивал и опять ревел. Гауляйтер, хохоча, вытирал мне нос салфеткой, на салфетке было написано: «I love you». Я смотрел на его новенькие поскрипывающие берцы. Гауляйтер обсмотрел меня, как племенного быка на рынке, и насвистел сквозь зубы песню «Crazy» группы «Аэросмит». «Знаешь, Вождь планирует отправить от нас на Украину два автобуса. Кажется, это серьезная война. Настоящая, чуешь? Давненько не было настоящей войны!» Я поддакнул. Я только что убил собственного отца, и про то, как кто-то кого-то убивает на чужой далекой Украине, мне совершенно не хотелось слушать.

Гауляйтер не выпытывал у меня, что случилось. Он видел – я не хотел говорить. Крики мачехи, исцарапанные отцом обои – пусть все умрет во мне, пусть пески времени и его сырые снега засыплют эту ночь, этот мой воздетый кулак. Я не мог, не хотел это помнить. Засыпая на ящиках в штабе, я бормотал себе под нос: «А может, я еще его не убил, мо-

жет, он поправится, может, голова цела, может…» Я ничего не знал и на мобильные телефоны не звонил ни отцу, ни мачехе, а городского у нас и не было отродясь.

Вот Батталу я позвонил. Он же был мне уже как брат. Дороже брата. И ему я все сказал. Он выслушал, ничего не сказал, а сказал совсем о другом: «Знаешь, Фимка, есть дело одно. Я только тебя могу попросить. Надо ребенка одного перевезти из Нижнего в Москву. Ну так тихо перевезти, прикинься его отцом, я куплю билеты, в Москве на Курском тебя встретят. Ничего страшного. Прогуляешься». Я даже ничего не стал переспрашивать, и отказываться не стал. Ведь это был Баттал. Он ни слова не сказал мне про деньги, но я так понял – это заработок, мне заплатят. В назначенный час я уже мотался взад-вперед по перрону Московского вокзала. Баттал тоже был пунктуален. Он шагал бодро, пружинисто, по-солдатски, и вел за руку ребенка, я подумал сначала, это мальчик, а подошли ближе – оказалась девочка: в смешных джинсах-галифе, лет десяти, с серьезными большими глазами, укутанная в шелковый белый шерстяной хиджаб. Она чуть походила на Раису – я подумал, может, ее родня. Баттал передал мне руку ребенка – так передают шкатулку с колечком или огонь эстафеты. «Береги ее. Она смышленая. Может убежать», – едва слышно сказал он, улыбаясь и приблизив губы к моему уху. Я сел с девочкой в поезд, это был сидячий вагон. Всю дорогу она тоскливо смотрела в окно. Потом, уже перед Москвой, попросилась в туалет. Вскочила и побе-

жала по проходу. Я глупо и потешно побежал за ней. Она убегала и кричала: «Не ходите за мной, я сама, я одна!» Поезд замедлял ход. Туалеты уже закрыли. Я догнал ее, поймал, как бабочку. Зло схватил за руку и больно сжал ее руку, она вскрикнула. «Не смей без меня никуда ходить. Мы скоро приедем. Тебя сводят пописать на вокзале». За окнами мелькали московские пригороды, а черноглазая девочка молча плакала, и ее пальцы тихо шевелились в моем кулаке.

На перроне ее, сходящую по ступеням, радостно поймал чернявый человек с синей щетиной на сытых щеках. Я думал, это ее отец – так ласково и счастливо он встречал ее. Обнимал, тискал, расцеловывал. Девочка отшатывалась. Чернявый крепко обнял ее за плечи, и я увидел – за его спиной идут, пасут его и девчонку двое смуглых парней в серых «аляскаx». Я отдал девочку, а мне вместо девочки передали увесистый старый, обшарпанный кейс. Мой обратный поезд был ровно через час. Я успел съесть в вокзальной забегаловке бутерброд с тухлой красной рыбой и влить в себя противный, как касторка, жидкий кофе. Ближе к полуночи состав подгрохотал к моему дымному городу. Баттал стоял на платформе, его лицо гляделось тверже гранита. Он крепко вцепился в ручку кейса, сжал пальцы до посинения. Потом он из тех столичных денег, что я привез ему в кейсе, отсчитал мне толстую пачку и обмотал ее резинкой для волос. Резинку, видать, у Раисы украл.

Деньги я положил на первый в жизни счет, и мне в окне

банка выдали твердую карту, похожую на игральную. Сказали: потеряешь, надо сообщить номер, заблокируем. Не потеряю, весело оскалился я и затолкал карту глубоко в карман бывалой косухи.

Чахлый, нервно мелькающий штабной телевизор показал теракт в московском метро: кровища растекается темными лужами, люди сидят, лежат, орут. Люди, когда их внезапно застигнет чужая близкая смерть, становятся бедными, обезумевшими животными; они перестают понимать слова, у них по звериному образу и подобию меняется дыхание, взгляд, движенья. Они просят, умоляют: только, пожалуйста, больше не надо! Только не я! Только не со мной! А это все происходит именно с ними, и сегодня, и завтра, и всегда. Терроризм – вовсе не чума нашего времени. Терроризм – закономерность взросления человечества. Для того, чтобы ощутить добро, надо встретить зло. Чтобы ощутить смерть, надо показать, какая милая, дорогая жизнь. Безумно дорогая, не купить ни за что.

Я вяло грыз купленный мне заботливым Гауляйтером чак-чак, и тут экран приблизил мертвое лицо, и я его тут же узнал. Девочка. Та самая, которую я вез в Москву и ловил по всему вагону. А она ведь хотела убежать. Она все чувствовала. Ей обмотали живот взрывчаткой и погнали, как волчонка, вниз по эскалатору, в подземелье, на смерть. Ей даже не пришлось втолковывать про героизм и мусульманский рай: ее простая маленькая жизнь ни гроша не стоила. Нет,

конечно, стоила – кейс вшивых бумажек. Бумажки не будут кричать и плакать, и бумажки не будут резать скальпелем на операционном столе, и бумажки не закопают в землю, рыдая, на далеком кладбище. Русская это была девочка, татарка, узбечка, испанка? Черт знает. Сейчас мир перемешался, все в нем смешалось, как в сдобном тесте, что замесил слепой и пьяный повар: яйца, сахар, ваниль, изюм, гайки, масло, шестеренки, сливки, цедра, ржавые осколки, мед, слезы, цукаты. И вот на выходе вкусный чак-чак с тайно запеченными гвоздями, или вкусные чельпеки, начиненные инжиром пополам с порохом, а что было на входе, на кровавом, безобразном, как орущий в страдании рот, входе, на это всем уже глубоко наплевать. Уже никто ничего не помнит. Скучный голосишко диктора все повторял и повторял про то, какие подлецы террористы, и как они ловко используют детей в своих целях, и как это все отвратительно, и как в тартарары катится мир, а бессильные люди лишь разводят руками и ничего не могут сделать.

Трупик девочки на экране отпечатался негативом на моем глазном дне. Черт, когда я ее вез в Москву, я же грешным делом подумал тогда: а может, я везу ребенка на органы? Но дело оказалось круче продажи органов. Я размышлял о том, куда Баттал денет деньги. Передаст другому? Потратит сам? Деньги – всегда иерархия, круговая порука. Тот, кто допущен к кормушке, никогда не уступит места. Он будет ржать и жрать. Чтобы жадного зверя отогнать, его можно только

взорвать. Маленькая живая взрывчатка взорвала вагон с пассажирами. Москву залили потоки слез. Таксисты брали бешеные деньги за то, чтобы доставить родню погибших – люди слетались на тризну со всего света – к этой дьявольской станции метро. Я набрал номер Баттала. «Ты видел?» – спросил я. «И что?» – переспросил он. Мне не захотелось больше говорить. Я слушал в трубке длинное, тоскливое молчание. Потом сказал: «Баттал, я, может, поеду на Украину». Баттал помолчал. Он обдумывал сказанное мной. И, видимо, думал, говорить ли мне то, что он сейчас скажет. Я знал, что долго таиться он не сможет, это не в его характере. «А я еду в Исламское государство»[3]. И опять молчание; это я теперь думал о том, что я услышал. «В Исламское государство?» [4]– тупо спросил я. «Не повторяй за мной зря, как попугай, телефон может прослушиваться», – зло бросил Баттал. «Хорошо», – послушно, как баран, проблеял я. «Октябрь наступает, – сказал Баттал. – В этом году четвертого октября Курбан-байрам. Отметим. На прощанье». – «Отметим, идет. Я никогда еще не был на Курбан-байраме». – «Эх ты. Но не беда. Наверстаешь. Только до праздника мы с тобой должны сходить кое-куда. Составишь компанию?» Я не спрашивал, опасно ли это, хорошо это или плохо, и кто хозяева, и останемся ли мы в живых. Когда живешь, речь не о том, чтобы сохранить свою шкуру. Речь всегда о том, чтобы прожить эти

[3] Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

[4] Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

пять минут, пять дней или пять лет возможно более горячо. Чтобы чужие люди обжигали руки. И потроха.

Я нашел в штабе, за сейфом, где Гауляйтер хранил всякие важные бумаги и смешные деньги, платяную щетку, тщательно отчистил от грязи джинсы и косуху, под краном выстирал и на батарее высушил единственную рубаху, сходил в парикмахерскую и постригся. Из штабного зеркала на меня смотрел вполне приличный парень: мокрые прилизанные волосенки, небрежно распахнут ворот клетчатой рубашки, расстегнута косуха, берцы начищены и блестят не хуже детских калош. Я плюнул в зеркало с негодованием, потом, смеясь, стер плевок ребром ладони. Мы с Батталом встретились около станции метро «Горьковская», и я пошел за ним туда, куда он меня вел. Я за словом в карман не полез и, пока мы шли в незнакомый дом под мелким мерзким дождем, спросил: «А это что, те люди, что тебе заплатили за девчонку?» Баттал шагал широко и развалисто, легко и красиво нес на чуть кривоватых, словно бы кавалерийских ногах свой мощный торс. «В том числе и они», – он шел и на меня не смотрел. «А мы оттуда целенькими свалим?» Баттал, не глядя на меня, усмехнулся. «А тебе так дорога твоя жизнь?» Я не выдержал. «Эгей, Баттал! Это те ребята, да? Ну, кто тебя закопал, да?! Они тебя нашли?» Вот тут он, не сбивая шага, обернулся. Его лицо было весело и бледно. Октябрьский мелкий дождь усеял его будто мелким потом. «Меня нашли, да. Но это другие. Это те, кто сражается с гробовщиками. Это

их враги. Теперь и я их враг тоже. Знаешь, теперь мы все сможем. Мы все осилим. Совсем скоро будет наша власть. Только наша! Одних нас!» Меня тоже несло, я почти кричал, и мы оба почти бежали, и дождь лупил по нас все сильнее. «Кого это нас?! Мусульман? Весь мир встанет под зеленое знамя ислама, да?! Да?!» Он, на бегу, схватил мою руку и сжал ее так, что кости хрустнули. «Под черное знамя. У нас теперь черное знамя. Черное».

Он встал, как вкопанный, как собака, что внезапно нашла гриб трюфель, перед богатой дверью богатого крыльца. Мрамор ступеней, золото отделки, мореный дуб, тонкая резьба. Если таков фасад, что же внутри? Сокровища Голконды? Я был близок к истине. Такого великолепия я еще никогда не видал и вряд ли уже увижу. Даже сейчас, вспоминая, себе не верю – неужели я побывал внутри золотой, хрустальной сказки. Такие сказки рассказывают девочкам на ночь; не погибшим, живым. В таких дворцах живут короли, цари и падишахи. Власть, она изначально богата. Так было, и так будет. Что мы хотели от равенства? Чтобы всех уравнять, надо взять серп и срезать всем головы; и то все равны не будут, все ведь разного роста. Баттал скинул плащ, под ним был роскошный костюм. Лакей презрительно обвел глазами мою косуху. «Дресс-код вечерний, разве вы не были предупреждены?» Баттал покровительственно похлопал меня по плечу, подмигнул лакею. «Это мой младший брат, он впервые, он растерялся, он сюда прямо с задания, вы уж сделайте одол-

жение!» Лакей поджал рот. Баттал тихо процедил: «Ну ты и дурак. Ты что себе никакой приличный прикид не купил? Я ж тебе денег дал! Ну, я же не твой стилист, правда? Ты уж сам!» Я пожал плечами. «Ты же знаешь, я неприличный. И никогда приличным не буду. Конченый я, ты что, только узнал?» Деньги Баттала лежали на моем первом в жизни счете, но я их не тратил, я, заимев их, сразу сделался скрытным и жадненьким. Я жалел их тратить на всякую чушь. Я сокровенно думал о них так: еще пригодятся. Тем временем мы шли, вместе, рядом, ноги нас обоих несли по сахарной мраморной, с золочеными балюстрадами, лестнице в громадный роскошный зал, он раскрывался перед нами внутренностью немыслимой, чудовищной розовой раковины, гигантской рапаны. А может, это была окаменелая, враз оледенелая, распахнутая пасть довременного чудища, морского змея, саблезубого тигра, – и сверкали клыки слепящими люстрами, и блестели когти горящими свечами, и в праздничном воздухе пахло кровью, сладостью и ладаном.

Тучи нарядно одетых людей клубились по залу, замирали, беседуя, весело жужжали золотой мошкарой вкруг огромного овального стола, уставленного золотой, серебряной, расписной фарфоровой посудой. Я опять подумал, что попал в царский дворец. «А это не музей?» – осторожно спросил я Баттала. Он прыснул. «Давай двигай к столу. Все накрыто! Ты такого никогда не видал и уж точно никогда не едал!» Я сглотнул слюну. Как на грех, я томился от голода, голод был

моим всегдашним состоянием, я к нему привык, как привыкают к тесной обуви: больно, плохо, плакать охота, но надо идти. Мы проталкивались сквозь спины и локти, голые шевелящиеся лопатки и блеск жемчужных ожерелий, через белый шелк и красный бархат, через габардин и шевиот, наступали на ноги в башмаках от Гуччи и в туфлях от Армани. В воздухе пахло жареным мясом вперемешку с тончайшими духами. Я касался голых рук женщин и смотрел на их голые шеи и низко открытые груди, и мысли исчезали, уступая место тревоге и жажде. Во рту сохло, сердце молотило, глотка хрипела наждачно. Баттал говорил – я не слышал. Мы наконец протискались к столу. На ровной, белой поверхности, на снежной скатерти, во всю длину стола стояло чудовищной величины блюдо. Вокруг блюда толпились рюмки и бокалы, высились бутылки с золотым, синим и алым питьем, звенели и вспыхивали молниями вилки, ножи и ложки, но я глядел только на блюдо.

На блюде лежала женщина.

Она лежала спокойно, мирно, тихо, такая настоящая, а вокруг стола толпились желающие отрезать от нее кусочек люди, и руки их, с вилками и ножами, ходили ходуном. Ножи, вилки, ложки вспыхивали в воздухе. Стоящий рядом со мной толстый низенький человек с аккуратной смуглой лысиной, похожей на коричневое огромное яйцо, взмахнул ножом. Меня затошнило. Он всадил вилку в нагое бедро женщины и, кряхтя и чуть не пуская от удовольствия слюну,

стал отрезать кусок. Плоть подалась на удивление легко. Я смотрел, как лысый дядька быстро подносит вилку с отрезанным от женщины куском ко рту, заталкивает кусок в рот и быстро жует, и глотает. Публика, обступившая стол, делала то же самое, что и дядька: она кромсала женщину на куски и жадно ела. Я шагнул назад и наступил на ногу Баттала. Баттал смеялся. «Ну что же ты! – негромко сказал он. – Вон нож, вон вилка! Да, да, такого ты никогда не едал! Да и не видал! Теперь гляди! Зырь! И чавкай, чмокай! Не теряйся!» Я зажмурился. Мне не хотелось глядеть. С прижмуренными глазами, в косухе, небритый, среди этого богатого сброда я, наверное, выглядел в высшей степени нелепо. Баттал, продолжая смеяться, сам всунул мне в одну руку нож, в другую вилку. Я заставил себя открыть глаза, воткнуть вилку в женщину и орудовать ножом. Когда я нес ко рту кусок, меня замутило еще больше. И тут я сообразил: кровь ведь не течет, значит, я не человека резал? Я, содрогаясь, откусил от того, что я отрезал – а отрезал я кусок от ее живота. Стал жевать. Вкуснота и счастье разлились по моему рту, неуловимо проскользнули в желудок. «Ну как? – Баттал двинул меня локтем в бок. – Отлично? Где еще такое чудо пожрешь! Запоминай на всю жизнь!» Женщина была сделана из хорошо пропеченного теста, в тесто были вмешаны всякие чудеса: мелко изрубленные лесные ягоды и персики, взбитые белки или сливки, измельченные орехи, мед и коньяк, и черт знает что, и все это таяло на языке и проваливалось в пропасть моего

всегдашнего лютого голода.

Я уже не церемонился. Я отрезал и жрал, отрезал и жрал. Я стоял у этого громадного, как плот, стола, и стол кренился, я отрезал от женщины и съедал, и запивал шикарным душистым коньяком, Баттал уже подносил к моему носу доверху налитый бокал, я резал и ел, резал и смеялся, резал и пьянел. Мне становилось смешно и хорошо. Женщину объедали до скелета. Кости уже просвечивали сквозь свадебную пелену взбитых сливок. Думаю, скелет был сделан из марципанов, а может, из сушеной дыни, а может, из белого шоколада. Я не хотел выламывать ни берцовую кость, ни лонную, ни коленную чашечку, ни ребро. Я ел и уже наедался, и отрыгивал. Дядька со смуглой лысиной воткнул нож женщине между бровей, он вскрывал ей череп. Ему подали золоченую ложку, и он, откинув выпечку черепной коробки, слегка постанывая от наслаждения, зачерпывал ложкой мозг и ел. Из чего кондитеры выделали ее мозг? Не знаю. Я его так и не попробовал.

Мне стало жарко. Пот тек у меня под рубахой. Я хотел снять косуху и не мог – так плотно я был зажат жующей толпой со всех сторон. Я обнаружил, что Баттал исчез. Через мгновение я увидел его – через кегли голов светилась черным фонарем его голова. Он разговаривал с незаметным худощавым человеком, ниже его ростом. Светлый ежик волос, быстрые косые глаза, серый смокинг, брильянтовые запонки. Он был похож на ручную крысу. Что-то оживленно говорил

Батталу, потом улыбнулся так, будто хотел укусить. И Баттал отпрянул, как от гюрзы. Но заставил себя тоже улыбнуться. Я видел, чего это Батталу стоило. Губы Баттала и губы крысиного человека шевелились, они продолжили беседу. Я подумал: а что, если мне незаметно свалить отсюда? Я был сыт и пьян, и мне смертельно хотелось курить. Я протолкался сквозь богатую толпу и по мраморной лестнице нетвердо спустился вниз. У входной двери стояли охранники. У них были морды быков и руки-грабли. Я сделал такой странный жест, мой пьяный мозг сам подсказал мне его: да бросьте, ребята, я тут свой в доску, нет проблем, не вопрос, выпустите меня на волю, в натуре, без базара.

Воля встретила меня резким твердым ветром, таким жестким, что он разрезал мое лицо и руки на мелкие куски. Я шел и пьяно, весело заслонял лицо ладонями. Что-то напевал, причем громко, на меня оглядывались и вертели пальцем у виска, кто-то даже смачно плюнул мне вслед. Плюйте, плюйте, я привык. Я повернул за угол, новая улица внезапно вся, враз, вспыхнула странными, будто новогодними гирляндами. Я даже остановился от восхищения. Даже, кажется, ахнул, как девчонка. Любовался. Вы не замечали, как любуется пьяный? Он наклоняет голову то туда, то сюда, рассматривает то, что его восхитило, долго и дотошно, и сопит, и пускает слезы умиления, и цокает языком. Вот и я так себя вел. А может, еще хуже. Помнится, я приседал, хлопал себя по коленям, свистел, гоготал и все таращился на эти цветные

яркие огоньки, рассыпанные над дорогой и стадами машин, над деревьями, все ветки деревьев были усеяны огоньками, пылали и переливались. Чудеса, да и только! Мне казалось, и крыши светились и мерцали.

И вот по этой усыпанной праздничными огнями улице, не помню ее названия, помню лишь ее старые подслеповатые домишки, а рядом каменные ульи грязных многоэтажек, прямо ко мне шел человек. Я его сразу заметил: он был такой несуразный, ну просто как из психушки сбежал. А может, он оттуда и сбежал, право слово. Босой, в синем халате, в таких ходят рабочие, в основном гастарбайтеры; из-под халата торчат брюки, гачи грубо закручены до колен, и видно бледные волосатые ноги. На голове белая баранья папаха; в таких, должно быть, на конях мчались казаки в бой, или кавказские пастухи шастали в кудрявых горах, не знаю. Деды наши такие папахи на военный парад надевали. Шерсть торчит в разные стороны, белая, курчавая, густая. А под папахой – глаза. Я таких глаз ни у кого не видал. Огромные, круглые, как у совы, бездонные, заглянешь глубже – в них запросто провалишься и не вынырнешь. Страшные глаза. Величины необыкновенной. И не моргают. Как механические. Хочется кнопку нажать, чтобы моргнули. Но кнопки такой под рукой не было, и я вынужден был глядеть в эти стеклянные, громадные, жуткие глаза и потихоньку тонуть в них.

А он, этот тип, подходил все ближе, босыми ногами по слякотному асфальту перебирал и подбирался ко мне.

И не сводил с меня своих потусторонних глаз. Он подваливал все ближе, ближе, и глаза становились все больше, они увеличивались дико, как у инопланетянина, и я не на шутку испугался, радостные огни вокруг померкли, передо мной мотались только эти два глаза, огромные, как елочные шары. А может, это наступал новый год, и ко мне подкатывалась на гнилой крестовине адская елка, глядя на меня вылупленными серебряными яйцами, золотыми машинными фарами?! «Провались ты!» – хотелось завопить мне, но я не мог. Я смотрел на этого полоумного совенка, на этого босого психа, а он смотрел на меня, и вот он уже рядом, и вот я слышу его хриплое дыхание, ловлю его теплый, чуть водочный запах изо рта. Ну все верно, я пьян, и он пьян. Два сапога пара! Я уже хотел было дружески хлопнуть его по плечу и сказать что-нибудь вроде: ну ты и накачался, братец! – или так: я-то тоже хорош! – или даже вот как: а ты, брателло, случаем не с Марса сюда?! – но я не успел.

Этот круглоглазый босой человек встал поперек тротуара, ни пройти ни проехать, раскинул руки и заслонил мне путь. Так стоял. И я стоял. Мы оба стояли, и в один прекрасный момент мы вдруг поменялись глазами. Поменялись лицами. Это я смотрел сам на себя, но вместо меня стоял он и глядел на меня, не моргая. Ужас схватил меня цепкими лапами. Я уже набрал в грудь воздуху, чтобы как следует заорать, но босяк меня опередил. Он открыл рот, как для крика, но из его рта вылетело только молчание. Или это у меня

заложило уши? Я повел руками в воздухе, и он повел. Я сжал кулаки, и он сжал. Я оскалился, и оскалился он. Бред какой, прошептал я, и он пошевелил губами. Нет, не он! Я сам.

И тут я стал говорить, говорить внятно и громко, почти по слогам, и слышно было все до слова, и я понимал, что это он говорит, а я его слушаю. Речь его звучала примерно так: «Не бойся! Каждый зеркало друг друга. Мы все отражаем друг друга. Нет человека, что не отразился бы в другом человеке. Тебя ударяют по правой щеке – это значит, того, кто глядит на тебя, ударяют по левой. Ты плачешь, а за горами и морями, зеркально отраженный, плачет тот, кто себя называет твоим именем. Называет тобой. Ты знаешь, что мы все связаны гораздо крепче, чем мы воображаем себе? Эти нити крепче кровеносных. Мы все под куполом огромного собора, и у нас у всех, не бойся, одинаковые лица. А я вас всех одинаково люблю; это ты любишь меня и нас всех, и это ты сейчас вознесешься над стонущим миром, это ты сейчас жестом, полным любви, благословишь его. Что ты хочешь мне прокричать? Это слово в слово то, что хочу прокричать тебе я! Ты мне кричишь: я Бог! И я тебе кричу: я Бог! Ты кричишь: нет, я человек! И я кричу одновременно с тобой, твоим голосом: нет, я человек! Не отличишь. Не перепутаешь. А если различий нет, значит, нет и вражды. Нет войны! Есть только любовь! Война есть потому, что ты разучился смотреться в зеркало! Ты разбил его, слышишь!»

Я выкричал эти последние слова: «…ты разбил его, слы-

шишь!» – и мое горло как петлей захлестнуло. «Пожалуйста, если ты Бог, сделай так, чтобы мы сейчас стали два разных человека, я же так не смогу жить, с тобой в себе!» – жалобно, умалишенно попросил я, и мое отражение перекосилось, жалоба и отчаяние и его искорежили, исковеркали и изуродовали. Мое зеркало отступило на шаг, и еще на один, и это я отступал, пятился, и я будто перешел черту, за которой стало все невозвратно. Где все разделилось, стало отдельным и горьким. Горечь одиночества и расставания проступила на языке. А может, это просто выходил хмель. Я опять видел перед собой босого дурака с круглыми глазами, и дурак тихо улыбнулся мне, а я стоял без улыбки и старательно его рассматривал. Будто жука под лупой: хотел запомнить на нем все, и какие у него лапки, и какие усики, и как блестят надкрылья. Босоногий человечишка глубоко вздохнул и тихо сказал, и я услышал и запомнил все, до слова: «Вы все ненавидите друг друга и воюете друг с другом только потому, что вы забыли: все вы одно. Многое в одном, а единое во многом. Радость внутри скорби, а боль внутри радости. Счастливы на ладан дышащие, ибо те уже ангелы. Счастливы те, у кого горе, им будет дано великое утешение. Счастливей всех любящие, именно их возлюбят навеки и приголубят. Счастливы те, кто добывает истину, ибо, добыв истину, они вовек будут насыщаться ею!»

Я стоял и повторял эти бесполезные слова холодными пьяными губами, а босой человек с круглыми и огромными, су-

масшедшими глазами наконец моргнул, один-единственный раз, ну точно как сова. Моргнул и опять глядел замерзшими озерами глаз. Эти глаза видели все. И они, хоть немного, хоть кроху земного времени, побыли на свете моими глазами.

Я много чего, знаете, понял тогда. Но разве об этом расскажешь? Я об этом и сам себе не расскажу. Но память у меня крепкая. Из меня это воспоминание можно вытравить только вместе с жизнью. А жизнь сама, что она такое? Босяк мне и это открыл бы. Стоило лишь немного подождать. Но с небес повалил мокрый снег, и поднялся ветер, и заслонил от меня зеркало этого лица, зеркало глаз. Я сам закрыл глаза и так стоял, и снег хлестал меня гадкими мокрыми веревками. Я так долго стоял. Люди обтекали меня, я слышал по обе стороны от себя легкий шорох, будто это неслись и плескались волны. Я чувствовал себя островом. Подумал: почему меня не затопят люди? Лучше бы затопили, погребли под собой! Хорошо погибнуть в людском море.

Людское море, соль слез. Все это волны, и они плещутся, и они набегают на берег. А берег это ты. По тебе ходят босыми ступнями, на тебя швыряют мусор и объедки, на тебя гадят, тебя поливают мочой и кровью, а ты все жив, и море твое все набегает на тебя веселым прибоем.

Когда я открыл глаза, босяка уже не было. Я изрядно продрог под ветром и снегом и чуть протрезвел. Я ничему не удивлялся, удивился только себе: как это я, видавший виды, и на такую уличную чепуху купился. Я шел по темной

незнакомой улице, и погасли веселые огни, и подворотни глядели зло, угрюмо; из них выползали люди, как мыши, щерили голодные зубы, вытаскивали из-за пазух тощие руки, как голодные ножи.

Я добрался до штаба, постучал, сторож открыл мне. На сей раз это был наш партиец по прозвищу Ширма. Такой широкий, что за него можно было спрятаться и делать под его прикрытием все что угодно. Ширма облапил меня и просипел: «Фимка! Кореш! Классный! Давай! Вмажем! У меня! Есть! Холодное! Пивко!» У Ширмы что-то такое было с глоткой, из его трахеи хриплые, сиплые слова выходили по одному, с натугой. Ему прочили скорый рак горла. Он махал рукой и хрипел: «До тех! Пор! Мы! Революцию! Сделаем!»

Мы вмазали по пивку, оно хорошо легко на выпитый в богатом дворце коньяк. Я почувствовал, что сейчас свалюсь. Ширма донес меня до спальных ящиков на руках. Просипел: «Я! Закрою! Снаружи! И брошу! Ключ! В форточку!»

Партийцы готовились к поездке на Донбасс. После богатой попойки мне позвонил Баттал. Я шел по улице, шел по трамвайным рельсам, вечером, трамваи уже не ходили, в кармане раздался трезвон. Баттал проскрипел в трубку: «Да, меня нашли. Нашли, Ефим, нашли. Еще как нашли. Но не те, кто закопал меня. Не те. А я сначала думал, это те. Скоро мы расстанемся, надолго. Я уеду. Далеко. Куда, ты знаешь. Я уже решил. Вернее, – он хохотнул коротко и жестко, – за меня все решили». Я испугался: у него был другой

голос, абсолютно чужой. Я даже подумал, что это не Баттал. А кто-то притворяется Батталом. В трубке зачастили гудки, я засунул телефон в карман, а он взял и упал на асфальт и чуть не разбился. Поднимая телефон, я тронул пальцами холодную рельсину. У меня было чувство, что я потрогал живую, нет, уже мертвую, нет, уже соленую рыбу, длинную сельдь.

Наступил октябрь, и навалился тенью мертвого барана Курбан-байрам, на котором я не был никогда и, может, уже никогда не буду. Хлебосольный Баттал, думал я, опять назовет гостей, и опять эти веселые близнецы будут прыгать и скакать вокруг меня, пытаясь влезть на меня, будто я дерево. Прощальный Курбан-байрам, все со всеми едят, обнимаются и прощаются, это проводы Баттала, а я еще не верил, что он уедет, и он не говорил мне, в какую страну: в Афганистан, Пакистан, Ирак, Сирию, я не знал ничего. А может, он не знал и сам. Я пришел к Батталу тогда, когда во дворе он закалывал жертвенного барана. Соседки в ужасе столпились у гнилой лавочки и показывали на барана пальцами. Дети выбегали из подъезда и в восторге визжали. Баран, со связанными ногами, лежал на грязной, усеянной палыми листьями земле. Баттал отогнул барану голову, закусил губы и взмахнул ножом. Я вспомнил, как дети резали глотки пленным христианам на берегу моря. Лезвие быстро полоснуло по курчавому меху, вонзилось в дрожащее тело. Кровь хлынула обильно и весело. Растекалась по земле и листьям. Старухи у подъезда плакали громко, в голос. Баттал поднял

голову и сказал теткам: «Мясные пироги делаете, а про скотину на бойне не помышляете! А это, дуры вы, жертва Богу!» Ветер донес до теток эти его негромкие слова. Я подошел ближе. Его жена стояла тут же, в праздничном наряде, и не боялась испачкать атласные тряпки кровью. У ее ног стояли большие пустые кастрюли, лохани и казаны. Баттал умело свежевал убитого барана и рубил острым топором на куски, Раиса складывала мясо в кастрюли. Наполнила одну кастрюлю, подхватила под железные уши и понесла. Прямо к лавке, где плакали и сокрушались соседские бабы. Она подошла близко к ним, остановилась и с поклоном протянула им наполненную свежим мясом кастрюлю: «Вот, возьмите, от чистого сердца, в честь праздника, угощение, да на здоровье оно вам всем пойдет! Вам всем и вашим детям!» Тетки обалдели. Жена Баттала обвела глазами застывших в ужасе и изумлении теток, поставила обгорелую кастрюлю с кровавыми кусками на ковер из палых листьев и тихо отошла, и ее юбка мела медные, красные листья.

Тут на горизонте замаячил я, и жена Баттала без улыбки кивнула на лохани и казаны, уже полные дымящимся парным мясом: «Помогай, неси в дом». Я подхватил лохань и понес ее в квартиру. Почему-то подумал о том, что в этой лохани когда-то купали ребенка, и ребенок смеялся. И подросший ребенок с удовольствием будет есть бараний суп, хлебать большой ложкой, и грызть, чмокая, жареное баранье сердце. Так устроена жизнь, и не каждый день на стол в се-

мье подают блюда из жертвенного барана, и никогда – сдобную женщину с потрохами из орехового крема.

Я перетаскал все казаны домой к Батталу, и мы, втроем, стали готовить угощения на Курбан-байрам. «Сегодня только первый день, надо готовить блюда из печени и сердца. И будем крошить легкие и селезенку. Первым мы приготовим джиз быз. Фимка, не зевай!» Я и не зевал. Жена его кинула мне кухонный фартук, и я скрепя сердце нацепил на себя эту бабью тряпицу. Мне подали большую разделочную доску, я старательно, на мелкие кусочки резал сердце. Оно все время выскальзывало у меня из рук, такое оно было круглое и скользкое. Из перерезанных сосудов еще сочилась кровь. Иногда я представлял себе, что это сердце не барана, а человека, прислушивался к себе и обнаруживал, что нет, меня не тошнит. Я оглядывался по сторонам: все полки на кухне и все столы в комнатах были завалены хлебом и лепешками, а еще тут возвышались многослойные, пропитанные заварным кремом бисквиты и разлеглись огромными, из теста, ароматными черепахами пироги – круглые, квадратные, овальные. Мой нос чуял запах мяса, капусты, миндаля, изюма, чернослива. Ничего себе наготовила Раиса, думал я, вот это работа! Стряпала за десятерых, а сама свеженькая, как огурчик. Огурчик, помидорчик, а может, лежалый, а может, тронутый гнильцой.

Под хиджабом не видно, какие у нее там щеки – одряблые или упругие. Хиджаб – превосходный, хитрый укрыватель:

он тщательно скрывает признаки старости женщины. Я видел морщины в углах полных губ и темных глаз, и я смутно помнил, вспоминал эту женщину; где я мог ее видеть – в трамвае, в магазине, в толпе на вокзале? В кино и в театры я не ходил, по рынкам не слонялся; скорее всего, это была просто прохожая, и я для нее был просто прохожий; однажды мы прошли мимо друг друга, мазнули друг по другу глазами. И память не сохранила нас – для нас. И хорошо. Если бы человек все помнил, он бы долго не прожил. Не выжил бы под непосильным грузом событий, лжи и правды.

Я разрезал сердце барана на мелкие кусочки, Раиса рядом кромсала баранью печень. Ее пальцы все были в темной бараньей крови, мягкие коричневые лохмотья печени разлетались по кухне и шлепались на пол. Кошка бродила меж наших ног и жадно вцеплялась зубами в упавшее на пол мясо. Близнецы дуэтом пели в гостиной. Гости все входили и входили в открытую дверь. В одном казане варилось, булькало изрезанное сердце, в другом тушились овощи, а Баттал, его жена и я обрабатывали бараньи легкие, и я взвешивал на ладони темно-вишневую пузыристую массу – и правда, легкая эта материя, почти невесомая, вот при помощи этого мы все дышим: и звери, и люди. А что бывает, когда тебе легкое прострелят? А что, если его проколют штыком? Раиса, согнув руку, запястьем, пальцы у нее были все в мясной крови, отодвинула от щеки складку белого шелка, обнажилось ухо, возле уха белел шрам, странный, в виде кре-

ста; женщина запястьем почесала себе ухо и запястьем вернула хиджаб на прежнее место. Приходили друзья Баттала, я никого не знал, а если знал кого в лицо, то забыл. Гомонили, обнимались, гортанно вскрикивали по-арабски – под грязным, давно не беленым потолком звучали святые слова. Вязь священных слов, а я не понимал ни черта. Настал момент, когда мы все расселись за столом, а близнецы, обнимая кошку, сидели за нашими спинами на диване. Баттал встал, на его лице я читал эту мрачную священную вязь, в нее складывались губы, морщины, брови, ресницы; он вздохнул и начал гортанно, гулко и гундосо говорить по-арабски. Потом он перевел то, что произнес, на русский: «О Аллах, благослови эту пищу и упаси нас от ада». Что такое ад, не знал никто из нас. Но все мы его боялись. Каждый по-своему. Я, язычник, а если правду сказать, неверующий, не верящий ни во что и никогда, вдруг близко ощутил черную пропасть ада, прогал пустоты; и вдруг мысленно увидал рай, сиянье, радугу, брызгающий во все стороны сумасшедший свет; рай и ад внезапно стали чем-то подлинным, настоящим, таким же реальным и натуральным, как моя рука, нога, как еда, что стояла на столе и в приготовлении которой я минуту назад принимал участие. Мусульмане вслух повторили то, что сказал Баттал, воздух вокруг меня загудел и задрожал. Я не сводил глаз с жены Баттала. Хотел увидеть, уловить в ней печаль. Горе от того, что она завтра, послезавтра разлучится с мужем. Ведь не возьмет же он ее с собой в Азию? И зачем он

туда едет? Ищет смерти? Подумаешь, чего найти захотел! Да она сама тебя найдет, если захочет!

Все наклонились над тарелками и стали есть. На всех лицах было написано счастье. Раиса включила компьютер, из него полилась яркая горячая музыка. Мусульмане заталкивали в рот руками кусочки бараньего сердца, без стеснения облизывали пальцы, но здесь были не только мусульмане. Пожилые тетки, верно, соседки, на их шеях мотались православные крестики. Рядом с мусульманином в чалме сидел мальчик лет двенадцати, русый и сероглазый; он ел мясо ложкой, а потом лез ложкой в общую миску, где лежали вареные овощи, политые острым соусом. А потом украдкой таскал с металлического блюда орегано, петрушку и зеленый лук. Рядом с мальчиком сидел седой мужчина с седым конским хвостом, схваченным на затылке хозяйственной резинкой. Он брал мясо руками, обмакивал в соус и жевал так долго и мучительно, что мне становилось его жалко. Потом так же трудно, судорожно проглатывал пищу. Время от времени он беззубо улыбался. Я представил, не знаю почему, что мы едим искромсанное ножами сердце той женщины, что лежала на блюде в богатом дворце, только женщина не из теста, а живая. Я ел и плакал, слезы текли по щекам, будто я напился, но ни капли спиртного не маячило на щедром столе. Баттал наклонился ко мне и участливо спросил: «Что, жалко, что я уезжаю?» Я кивнул, не в силах говорить. Тогда он покосился на жену и тихо сказал: «Когда будет нев-

моготу, приходи к ней. Она тебя накормит, напоит и с тобой поговорит. Она добрая. Ты знаешь о том, что она вдвое старше меня?» Я опять кивнул, язык мой не шевелился в рту. Я стыдился своих мокрых, как у презренной бабы, щек. Баттал кончиком пальца подхватил слезу с моей щеки. «Мне это неважно. Мне очень посчастливилось с ней. Она понимает меня. Как никто. Так никто и никогда меня не поймет. И не поддержит. Она хоть бы слово сказала, когда я ей сказал, что я улетаю в Халифат.[5] Только вот заплакала, как ты сейчас. Молча. И погладила меня по щеке. И знаешь что она мне сказала? Она сказала мне: ты уже святой. И я засмеялся, зря я, в общем-то засмеялся, и ответил: а ты тогда жена святого. Не надо было смеяться. Нехорошо это было. Но я должен лететь. Там, именно там сейчас творится история. Там варится в котле наше будущее. Там умирает старое, а то, что родится, в этом мы все скоро будем жить. Только никто из нас еще об этом не знает. Ты понимаешь? Ты, ты?» Он схватил меня за плечо и легонько потряс. Вокруг нас все ели и веселились, и все были веселые без вина, у всех блестели зубы в широких улыбках. Белобрысый школьник старательно жевал мясо. Близнецы на диване играли с кошкой, мальчик прищемил ей хвост, кошка заорала оглушительно, девочка прижала к лицу ладошки – так она жалела кошку. Жена Баттала не двинулась. Она сидела на табурете прямо и холодно, и ледяной белый хиджаб, как тогда, на свадьбе, давно,

[5] Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

обхватывал ее лицо. Вдвое старше! А какая, хрен, разница?

Баттал положил себе на тарелку мяса с черносливом и с яблоками, придвинул щеку к моей щеке и тихо, но отчетливо шепнул, и его шепот обжег мне мочку уха: «Раиса ждет ребенка. Близнецы – ее. Это будет мой ребенок. Мой!» Он подцепил вилкой мясо и отправил в рот. С набитым ртом он весело сказал, я еле разобрал: «И вот он, он будет жить в Халифате.[6] А Халифатом,[7] запомни это, будет целая земля. Вся земля. Вся». Он так твердо, с упорством говорил это, будто гвозди молотом в бревна вколачивал, что я поверил. «А ты не хочешь стать мусульманином?» – строго спросил он, прожевав и проглотив мясо.

Я не знал, что ответить. Женщина, из гостей, вскочила со стула и начала крутиться, в ее руках к потолку взмыл и зазвенел маленький, похожий на диск луны бубен – она так танцевала. Гости хлопали в ладоши. Жена Баттала вышла из гостиной, потом вошла, внесла на вытянутых руках поднос с ломтями жареной печенки, украшенной зеленью. Мы все дружно поедали этого барана, черт возьми, а ведь вчера он бегал и прыгал! Я внезапно захотел перестать жрать мясо. Отвернулся от подноса. Раиса водрузила поднос на высоком треножнике. Люди вылезали из-за стола, подходили и сами накладывали себе на тарелки дымящуюся печенку. У меня кружилась голова. Я хотел на воздух. «Ты покурить? – спро-

---

[6] Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

[7] Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

сила Раиса, когда я встал и пошел к выходу. – Или уходишь?» Я и правда хотел уйти, так мне стало плохо. «Покурить», – ответил я и вышел на лестничную клетку, и долго там стоял и курил, размазывая кулаком слезы по щекам.

Когда я вошел в квартиру, я все смотрел на живот Раисы, угадывая под складками праздничного пестрого платья шевеленье младенца. Никто там не шевелился. И живота никакого не было. Я заметил только, что женщина исхудала. «Так едят хорошо, – подумал я, – и такая чахлая баба, как недокормленная». Я все-таки ушел, не дожидаясь конца трапезы: мне показалось, она будет бесконечной. Я вспомнил, Баттал говорил мне, что Курбан-байрам празднуют два дня, три, четыре, хоть всю неделю. Вот обжоры, и не стыдно им. Но ведь еда святая, и Аллах святой. Все святое, если веришь.

И вдруг я смертельно захотел поверить. Как это – верить? Что такое верить?! Меня невозможно было обмануть. Я был сто раз обманут, и прекрасно умел обманывать сам, и я видел, что так живут все, и только прикрываются правдой. Веру я считал первостатейным обманом, и мне гораздо ближе были язычники, на Великом Костре у которых однажды я побывал: они, по крайней мере, никого не обманывали, они поклонялись силам природы, а природа, это ведь штука гораздо более древняя и безусловная, чем все на свете вымышленные боги. У дождя, ветра, солнца, луны тоже были имена, и язычники их тоже считали богами; но дождь и солнце были реальны, как реален ты сам, твоя кровь и боль, а Аллах,

Христос, Будда – кто и когда видел их, кто держал их за руки, слышал их голоса? Но чертовы люди упорно, как маньяки, все верили, и верили, и верили в них. И я тоже захотел поверить. В них. Ну пускай не в них. В кого-нибудь. Во что-нибудь.

Новые язычники горячо верили в целую кучу славянских божеств: в Ярило и в Даждьбога, в Сварога и в Перуна, и в Световида, и в Чернобога, и в Мокошь, и в какую-то, пес ее разберет, Зимцерлу. Зимцерла, мне нравилось это хрустальное имечко, будто выпили вино и через плечо наземь швырнули пустой бокал, и он разбился вдрызг. Ребята, с раскрашенными щеками, плечами и подбородками, татуированные простоволосые девицы, малые дети, и кто только сюда, в холодный лес, детей-то притащил, простудятся, кто босиком, кто в лаптях, кто в грязных сапогах, плясали у костра, взявшись за руки, водили хороводы – до одурения, до головокруженья, пока кто-нибудь, обезумев, не валился головой в догорающий костер, и так и лежал в чахлом пригородном леске, на слоях сухих и мокрых, желтых и ржавых листьев, как на расстеленной широко и щедро богатой парче. Я тех, кто упал, оттаскивал за ноги под кусты; я там единственный не плясал у огня. Я один там был здоровый, не больной. Язычники выкрикивали в сырой лесной воздух непонятные имена и заклинания, я озирал их, как психов в психушке. Нет, я уважал их пылкую древнюю веру, но сам-то я ни черта ни в какую Зимцерлу, ни в какого Чернобога не верил ни

минуточки. Костер догорел, девки в лаптях деловито заколо-ли на затылке распущенные по плечам косы, заправили те-атральные сарафаны в джинсы, приволокли рюкзаки с кар-тошкой и стали запекать ее в горячей золе. Я ел языческую картошку, посыпал серой крупной солью и похохатывал. Все мы сидели на сырых листьях, и наши зады отсыревали, и я с тоской думал, как еще через чахлый подлесок, потом че-рез мертвое поле, потом через нищие огороды целый час та-щиться до станции, к электричке. Одуреешь.

Вера, вера! Что она такое? В какого бога верить надо? В какого не надо? Может, мне никогда и не дано это узнать. Да, знаете, не очень-то и хотелось. Ты живешь, вот сам в се-бя и верь, пока жив. Да еще в человека верь, что тебе в беде протянет руку. А то сейчас если с кем беда, ее с удовольстви-ем снимают на камеру, на смартфон видео твоей беды тща-тельно снимают, а к тебе самому не подойдут, не ринутся, чтобы тебя из беды выручить. Ты тонешь в реке – снимают видео, как ты тонешь. Ты горишь в огне – никто не бросится, чтобы тебя выхватить из пламени, все стоят рядом с огнем и тебя, заживо сгорающего, на видео снимают. Ты висишь высоко над землей, вцепившись в карниз – тебя снимают, ведут в воздухе камерой, хохочут: ну повиси еще немного, ну продержись, парень, какой отличный кадр, ну еще чуть-чуть! еще капельку! – твои руки не выдерживают, ты срыва-ешься и летишь, и то, как ты падаешь, снимают на камеру, и то, как ты разбиваешься. Отличный кадр! Классное видео!

Миллион просмотров в Сети!

И поэтому, знаете, может, это плохо, да, это совсем плохо, согласен, но я не верю и в человека. Я сам человек, значит, я сам в себя не верю. Я не верю в то, что человек способен любить, сострадать, спасать. Потому что я сам не умею ни спасать, ни жалеть, ни тем более любить: меня никто этому не научил, и мне это не врождено. А вы говорите, вера! Вера, химера! Вера, это еще одна выдумка людей для людей, чтобы легче их обманывать, чтобы искуснее ими управлять. Есть стадо и есть пастух, и все, больше ничего нет.

Стадо жертвенных баранов. Для Курбан-байрама.

И очень умный, хитрый и жестокий пастух, что прикидывается заботливым и добрым. Он один знает, что все бараны пойдут на бойню. Пойдут на шерсть и мясо. Кому? Ему и его собутыльникам, в его застолье. Самому лучшему, самому знаменитому пастуху в мире.

А стадо – ему что? Ему лишь нож и ножницы. Мясо и шерсть, вот чистый доход. Больных и немощных убивают. Если какая овца запаршивеет, ее убивают. Если у какого барана вздуется живот, его убивают. А для того, чтобы все стадо всегда слушалось пастуха, время от времени убивают всех подряд. И больных и здоровых. А чтобы боялись.

Я пришел к Батталу прощаться. Я помнил день, когда он улетал. Я не знал, поедет ли его жена обниматься с ним в аэропорту, перед самолетом, или плюнет на этот дешевый романтизм и останется дома, с близнецами, и проводит му-

жа только до порога. Я плохо осознавал, что Баттал улетает, может, навсегда. Навсегда – это тоже пошлость, тот, кто говорит «навсегда», не понимает, что это «навсегда» может треснуть и сломаться, и разлететься по полу осколками, как яичная скорлупа. Баттал открыл мне дверь, он уже весь был строгий и подтянутый, в камуфляже, в высоко зашнурованных берцах. «Куда же ты все-таки летишь?» – спросил я. «В Сирию», – ответил он жестко. Мысленно он уже летел, он уже был там, в самолете, пересекающем в холодном высоком воздухе призрачные, как в компьютерной игре, моря, горы и пустыни. «Прямо в Дамаск?» – глупо спросил я. «Нет, криво», – на полном серьезе сказал он. Я сделал круглые глаза. «Ну да, криво, сначала приземлимся в Стамбуле, потом там пересяду на рейс до Дамаска, потом…» – «Из Сирии что, куда-то еще, что ли, потом?» Жена Баттала стояла рядом, молчала и слушала. Под ее ладонями круглились теплые головы близнецов. «Потом в Ракку. Туда меня переправят на вертолете. И, надеюсь, его не собьют». Близнецы затихли. Девочка, вынув пальчик изо рта, пролепетала: «Папочка, а тебя правда не убьют?» Мне понравилось, что он не стал сюсюкать и врать. «Если меня убьют, доченька, меня убьют во имя Аллаха». Губы Раисы пошевелились. Я понял – она читала молитву.

«Ну, давай прощаться, друг», – сказал Баттал. Мы обнялись. Что за обычай у людей – при встрече и на прощанье тискать друг друга? Я понял, его жена ни в какой аэропорт

не поедет. Выпустив меня из рук, он обхватил жену. Я думал, они припадут друг к другу и будут так стоять целый час, и женщина будет шмыгать носом. Ничего подобного. Баттал тут же разжал руки, по лицу Раисы не текло ни слезинки. Он наклонился и поцеловал близнецов в лоб – сперва мальчика, потом девочку. «Я напишу», – он вскинул рюкзак на плечо, жена помогла ему надеть его. Расправила ремни на спине. Лязг замка, распахнутая дверь. Баттал перешагнул порог. И все.

Нет! Не все! Жена еще не успела закрыть за ним дверь. Он повернулся и шагнул обратно. И тут, в прихожей, где уже, так мне чудилось, гулял запах гари и пороха, он внезапно встал на колени, обнял ноги жены и крепко прижался к ним лицом. И поцеловал ей ноги, куда-то чуть выше колен, бедра поцеловал, так я понял. Припал губами, а ладони его лежали у нее на ягодицах, он вминал, вдавливал пальцы ей в зад, и пальцы крючились и содрогались, будто их судорога сводила. Потом он встал и, не глядя ни на жену, ни на детей, ни на меня, ушел, пошел вниз по лестнице, гремя берцами, хотя ведь мог вызвать лифт, но я его понял, он не хотел тут больше торчать, перед нами, бестолково длить проводы и рождать в сердце все то, что мужчине испытывать не нужно.

Я обернулся к его жене и только сейчас понял – она в черном хиджабе. В траурном. Она, не отрывая глаз от меня, потянула черную материю вверх, к носу, к глазам. Хиджаб превратился в никаб. И рот, губы у нее оказались наглухо за-

крыты, заклеены полосой черной ткани. Я чуть не ухмыльнулся, видя это: ну да, никому не поцеловать, не посягнуть на чужую жену! У меня в мыслях не было этого, а вот поди ж ты, эти мысли все равно мужикам в башку втыкаются, гадкие и колючие. Над самодельным никабом сверкали ее глаза. Я видел их впервые слишком близко. Так близко, что мне показалось: сейчас и в моих глазах она увидит то, что видеть женщине у мужчины нельзя. Любой женщине – у любого мужчины.

Мы, как зачарованные, молча смотрели друг на друга. Куда-то делись, как провалились, близнецы. Слабо, затравленно мяукала вдалеке, как на том свете, кошка. Я не мог опустить глаз, она, я это понимал, тоже не могла. Время застыло. Все твердое расплылось, все мягкое замерзло. Все, что с нами было когда-то, стало нашим будущим и нашими еще не прожитыми, тайными и страшными смертями. Я хотел закрыть глаза, у меня даже это не получилось. Потом я ощутил, что кто-то взял меня за руку. Рука внезапно стала горячей и мокрой. Я заставил себя прозреть и найти потерянный разум. Это Раиса наклонила лицо над моей рукой, и ее слезы капали мне на руку и стекали на пол. Она выпустила мою руку, повернулась и пошла в гостиную. Я дождался, когда ее шаги утихнут, отворил дверь и тихо вышел.

А на другой день я чуть не влип в историю. Можно даже прямо сказать, влип, что уж кокетничать. И где? В штабе.

Грязная история, надо вам сказать, ну, да вы, конечно, видали-слыхали и погрязнее. Но у меня в жизни это была первая мощная грязь, слишком большая грязная лужа, в которой я искупался по уши. И, скажу даже, этот случай укрепил во мне желание как можно скорее смыться отсюда. Я подслушал один разговор, который ни при каком раскладе подслушивать было нельзя. Да что я вру, не один даже, а целых три. И я не хотел: оно так вышло само. Я дежурил в штабе – а поскольку я тут, в штабе, жил, то на меня все назначенные дежуранты дежурство свое скидывали: «Фимка подежурит, он же все равно тут торчит». Дежурил с толком и с кайфом – явился Заяц с двумя полторашками «Охоты», а потом я сбегал еще за одной в киоск на перекресток. В штабе Гауляйтер время от времени подсовывал мне деньжат, и я не чувствовал себя уж совсем последним нищим. Деньги Баттала за кровавое дело, что валялись на счете, я по-прежнему жадно и тайно не трогал. Ну так вот, вкусили мы пивка под завязку, и Заяц промямлил: «Еще бы чутка!» – а я уже падал, валился, и я не помню, как это я завалился за ящики с листовками. Да, были там, в штабе у нас, такие специальные ящики: деревянные, грубо сколоченные, квадратные, как чудовищные скворешни. Мы клали в них партийные листовки и таскали ящики на свои акции и марши. И разбрасывали листовки среди людей. Люди над нами смеялись. Отворачивались от нас и шли дальше. У меня было такое чувство, что вот они живут, двигаются в своем времени, а мы будто из далекого

прошлого, из давно сдохшей красной, большевицкой революции, мы – динозавры. Ну, то есть, мы умерли уже и никому не интересны. И вот, чтобы вызвать интерес к себе, мы тащили на площадь эти ящики, запускали в них руки, швыряли на асфальт листовки и орали: «Преступную власть долой!» Листовки прочь от нас весело нес ветер. И люди их весело топтали. Находился один идиот, что листовку поднимал. Читал. Лицо идиота становилось злым. Или идиот хохотал и комкал бумагу. Я стоял, как столб, с таким вот ящиком в руках и думал о себе, что я тоже идиот. И что все человечество – сборище идиотов, и от этого никуда не деться.

Так вот, Заяц растаял в тумане и куда-то исчез, я свалился за ящики и мгновенно заснул. Проснулся от негромкого голоса. Голос звучал тихо, говорили быстро, глотая и комкая слова и чуть заикаясь. Я узнал этот голос. Это говорил один из наших комиссаров, политик будь здоров, мне кажется, он метил на место московского нашего Вождя, если бы Вождь вдруг умер: мы почему-то все звали его «Тройная Уха», он не обижался. Что среди ночи тут делал Тройная Уха? У него был свой ключ, и это было правильно, он же был еще немного, и наш, местный вождь, а значит, хозяин. Скоту нужен хозяин, ха-ха, и человеку, выходит, тоже. Комиссар Тройная Уха, красавец, плечищи широкие, а сам стройняшка, вокруг подбородка бежит змеей бородка, стрижка всегда стильная, ясный взгляд. Ну да, он славился этим взглядом, ясным и нежным, как у ребенка. А мог замочить любого од-

ним хорошим хуком. Наши девчонки партийные, их не так много у нас было, но водились – как без них, где сготовят пожрать из ничего, где перепихнуться можно исподтишка, – все поголовно были в Тройную Уху влюблены. А он ни на кого глаз не клал, хотя был холостяк. Ходили слухи, что у него в далекой северной деревне, на Белом море, от зэчки двое детей, и взрослые уже; и что он сам в лагере сидел; и что он сам сын заключенных, двух знаменитых диссидентов, погибших как Ромео и Джульетта: он увидел ее, избитую охранником вусмерть, и повесился на сосне, а она очухалась и увидела его, на ветке висящего, и бросилась на колючую проволоку под током. Много чего говорили. И, вспомнив сталинские лагеря, кривились: вот возьмем власть, мы тоже лагерей понастроим, чтобы всю нечисть туда загнать и торжествовать.

Голос звучал, я лежал и слушал, а что мне оставалось делать? Уши же у меня к голове приделаны, я их не отрежу. Я старался дышать как можно тише, чтобы прокуренные легкие не булькали. «Але, Медведь? П-привет, Медведь. Да, из Нижнего. А ты в Москве? Уже в пути? Скатертью тебе дорожка. Да, акция состоится, все будет, как договорено. Транспаранты готовы. Народ тоже. Д-дымовые шашки? А зачем, друг? Это лишнее. Достаточно одной черной тряпки. Там уже написано: УБ-БЕЙ НОВОГО Г-ГИТЛЕРА. Тюрьмы ждут, да. Полиция, представь, тоже готова. Нет, не жалко! Мне вообще никого не жалко, жалко у пчелки. Я сам попаду? Я сам никогда в тюрьму не п-попаду, Медведюшка, я

знаю вол-лшебное слово. Да, ах-ха-ха. Пятнадцатого? Число в силе. Давай, двигай на юг. Не высовывайся в окно на границе, не пялься на жовто-блакитный флаг, тебя подстрелят. Сталин, Б-берия, ГУЛАГ! Да, смерть! Адью». Наступило молчание, и я слышал, как поют кнопки телефона. Тройная Уха набирал другой номер. «Але-але, здравствуйте, это п-приемная господина Зверева? Он на месте? Передайте, пожалуйста, что с-с-с ним хочет говорить Тимофей У-ушаков из Нижнего Новгорода. Не может? Передайте только два слова: безоблачное небо. Он п-поймет. Пожалуйста. Да. Да. Да! Але! Виталий Анисимович? День добрый! Это Т-тимофей. Спасибо, хорошо, как вы? Я рад. Да, я подготовил программу. „Русская осень“ в действии, скоро войдет в силу „Русская з-зима“. На саммит? Почему нет? Полечу, и с превеликим удовольствием. Включили меня в лучшую десятку? Россия может гордиться? Ха, ха, ха! Я сам уже горжусь, и еще как, с-спасибо. Спасибо за доверие! Деньги? Да, на тот же счет, ц-цифры не изменились. Буду в Москве через неделю. Невеста? Ваша племянница? Чепуха какая. Я понимаю, р-русский богатырь должен жениться и родить с-с-сто детей и все такое, но мне жаль мою свободу. Она у меня золотая. Итак, сначала Москва, я так понял, потом Лондон, потом заседание в Токио? Нет, я не буду делать харакири, не надо показывать с-самураям свое дилетантство. Все, пока! Да з-здравствует великая Россия! Да з-здравствует президент!»

Я лежал как бревно. И уже не дышал. Кнопки выпевали

другую мелодию.

Тройная Уха заговорил сперва на английском языке. Хэллоу, экскьюз ми, плиз, сэнкью. И внезапно, я аж вздрогнул, перешел на русский. «Миша? З-здравствуй, Миша. Не соскучился там в роскоши сытой после т-таежного барака? Ах, наоборот, оттаял? И то дело. То, что ты мне прислал, я внимательно п-прочитал. Изучил. Я все понял. Деньги будут выделены, понял. Это с-с-супер. Это – я не мог мечтать! Кланяйся еврейским б-банкам, что бы мы, русские, без них, родимых, делали. И в семнадцатом году, и в девяносто третьем, и сейчас, и всегда. Миша, ты гений, тебе это уже говорили? Нет, я не гений. Я только учусь. Мне до тебя как до небес. Скажи т-только: Шалевич с нами? Правда, с нами? Крикнул бы ура на весь дом, да тут у нас глубокая ночь! У тебя там тоже ночь? Полночь? По Г-гринвичу живешь, хитрый лис?! А по Пикадилли гуляешь? Завидую. Да приеду, конечно, прилечу, куда я денусь. У меня тут небольшая к-командировочка партийная, на севера, в Кемь. Грибов белых оттуда притараню. Хочешь, тебе сушеных пришлю? А ты мне пришли м-мацы. Когда думаешь все закручивать? Через полгодика, через год? С чего начнем, с Красной площади, или с чего поскромнее? Или, может, вообще с Питера, с Дворцовой? Как п-при чем тут Питер? Питер, б-блин, колыбель революции. А ты, Мишка, что, серьезно хочешь стать п-президентом? Ты уж давай сразу ц-ц-царем. Еврейский царь на Руси, да это ж просто цимес! Ха, ха! Обнимаю крепко. Счета

смогу проверить только в Лондоне. С тобой вместе. П-прилечу дней через десять, у меня тут еще, перед северами, п-п-пара делишек в Москве, кремлевских жуков на золотые булавки насаживаю. Все, всем твоим иудеям п-привет, мамочку целуй. Адью».

Все. Телефон молчал, и человек молчал. Ничто не шевелилось, и никто не бормотал и не похохатывал. Молчание задавило меня плотным вонючим старым матрацем.

Я, с закрытыми глазами, видел стоящего посреди штабной комнаты Тройную Уху: полон сил, молод, красив, умен, нагл, и правда, варит тройную уху, прозвище-то оказалось в жилу, и главное, свято верит, что уху эту – сварит. И меня, лежащее за ящиками живое бревно, тут вдруг осенило. Вот Тройная Уха одному говорил правду, другому – правду, третьему – правду. И оказалось, что он всем врет. Говоря правду одному, он обманывал двух других. А сам он что себе говорил? Себя он – обманывал или нет?

Все врут всем. Обман на обмане сидит и обманом погоняет. Мы все охвачены одним, цепким и крепким тотальным враньем. Тотальным, я это мудреное слово изучил и запомнил. Мне Баттал пояснил: это когда все вокруг охвачены одной заразой. Ну, это как эпидемия. Если ты попадаешь в круг заразы, не заразиться нельзя. Все равно ты сковырнешься, как ни берегись.

А еще все убивают всех, и вот тоже святая правда, смерть ведь невозможно подделать, ею невозможно обмануть, –

и все-таки даже она, смерть, становится ложью. Потому что воюют ведь за идеалы, нападая на тех, кто против них, или защищая их от врага. А это все одна и та же бойня. Бойня враньевая и бойня физическая смыкаются, сращиваются, как срастается сломанная кость у плохого врача: больно, неправильно. Врут и не краснеют. А потом один другого за вранье – убивает.

Вот и меня сейчас убьют, подумал я, – и тут пыль попала мне в нос, я крепился изо всех сил, сколько мог, и все-таки не выдержал и чихнул. Громко и смачно. Пыль разлетелась, в голове загудело. Я дернул ногой, и пустой ящик из-под листовок свалился на пол. Тройная Уха медленно подошел к ящикам. «Вылезай», – сказал он ледяно. Лед в его голосе хорошего не предвещал. Я еще думал, все обойдется. Встал, перевалил ногу через ящик. Стоял перед Тройной Ухой, глупо так стоял, молчал, и он тоже молчал. Стоим, молчим, не шевелимся, ну очень все глупо. Я уж подумал: скорей ты начинай бить, ведь все равно этим все закончится. Наконец он протянул руку и крепко взял меня за ворот, пальцы сцепил и резко меня тряхнул. Голова у меня мотнулась. «Ну, бей!» – крикнул я. Глубина ночи молчала, не ответила даже эхом, звоном. В грязном зеркале на стене я увидал краем глаза, как Тройная Уха размахнулся и хорошенько засадил мне в ребро. И еще дал в ребра, с другой стороны. Ему показалось мало. Только я подумал: «Не надо бы в рожу!» – как он развернулся и загвоздил мне в лицо. Под

глазом, ниже скулы, стало больно и жарко. Он двинул мне в скулу и чуть не своротил ее. И еще бил, и еще, а дрался он хорошо, великолепно даже. Я сам тоже ничего себе дрался, но тут драться с Тройной Ухой было бы неприлично, кто же дерется со своим комиссаром? Я сказал себе: казнишь меня, ну и казни. А я потерплю. И я терпел. А он все лупил, и в раж вошел. Рот его выгнулся подковой, по подбородку стекал пот, а может, слюна. Сладко ему было бить меня, свою партийную скотину.

Устал. Отступил. А может, пожалел. Я валялся перед ним на полу. Потом сообразил: надо бы встать. Вставал долго, трудно, сначала встал на четвереньки, хрипел. Потом сидел на корточках. Потом разогнул спину и выпрямил колени. Я стоял, качаясь, весь гудел, как рельсина, в которую с размаху ударили молотом. Дышал часто и тяжело, будто поднялся на гору. Тройная Уха отступил от меня на шаг, другой. Будто бы бы я был прокаженный, заразный. Потом опять шагнул ко мне и опять за шиворот взял. Придвинул ко мне лицо и пробормотал сбивчиво, и заикался заметно: «Уб-бью, если к-к-кому д-донесешь». – «Я не пидор и не сексот», – зло сказал я и плюнул кровью, и утерся. Он выпустил из кулака мой воротник и слегка оттолкнул меня, и я, хмельной и избитый, повалился назад, упал и больно стукнулся затылком о ящик.

После этой ночи я понял кайф старой пословицы: слово серебро, молчание золото. Ну и толку что, что я молчал? Я-то теперь знал, кто такой на самом деле Тройная Уха. И это

не красило его в моих глазах, и он это понимал. А я понимал еще и то, что он все равно выживет меня из рядов партии, если я останусь здесь, не потерпит он меня, видеть тут каждый день мою все про него знающую морду, и мне надо валить, а куда валить, с ходу придумать было трудно. И вот сама собою придумалась эта Украина. Эта заваруха тамошняя. И потом, война, настоящая война в жизни моего поколения: это было гордо, это было круто. Не одни наши деды воевали. Теперь и мы пороха нюхнем.

Я забыл, как косил от армии. Шрамы через всю грудь были вроде как горделивой отметиной, обещанием будущего. До отъезда на Донбасс мне еще раз довелось подраться. Ночь, почему люди людей бьют чаще всего ночью? Ночью шел по главной улице старого города, по плохо освещенной Большой Покровке, свернул на Алексеевскую, за кирпичными руинами, за мусорными ящиками услышал женский крик, его тут же заглушили: наверное, заткнули орущий рот локтем или тряпкой. Я не думал вообще ничего, мысли исчезли, в голове гуляла пустота. Ноги сами понесли меня туда, за руины, к старым гаражам. Девчонку насиловали на острых битых кирпичах, она дергалась и извивалась под тощим юным телом, два пацана стояли рядом и, облизываясь, ждали. Я мигом оценил обстановку. Совсем пацаны, тут и стараться не надо. Я увидел тень, она падала на красные и белые битые кирпичи. Обернулся. Рядом с мусоркой на коленях стоял человек, ладони лодочкой сложены у гру-

ди, он беззвучно шевелил губами под моржовыми густыми усами. По спине у него грязным ручьем струился хвост, такие длинные волосы у него были, забраны резинкой. Я шагнул к нему. Меня трясло. «Ты что, мать твою?!» Он поднял голову. Так же, лодочкой, смиренно держал сложенные руки. «Молюсь, чтобы, если ее убьют, ей в ином мире не стать козой или свиньей». – «Сам ты свинья!» – бешено заорал я и побежал к распятой на кирпичах девчонке. Пнул насильника. Он откатился, как кегля на кегельбане. Я быстро развернулся, пацаны и опомниться не успели, и наподдавал сначала одному, потому другому, опять одному, другому. Я бил и вспоминал приемы, которыми меня бил Тройная Уха. Хорошо он бил, правильно. Я старался ему подражать. Долго стараться не пришлось. Пацаны драпанули с поля боя, оставив даже свое фирменное оружие – длинные крепкие палки; при помощи такого нехитрого орудия беспризорные мальчишки вечерами окружали подвыпивших гуляк, избивали их, иной раз забивали до смерти, и забирали кошелек, телефон или часы – доброму вору все впору. Мертвых пьяных дядек часто находили на улицах города, и даже в фешенебельном центре, не только на разбойных окраинах. Я засвистел для острастки и крикнул бегущим вслед: «Только еще в жизни попробуйте такое!» Они бежали, потом один упал, видать, я крепко ударил его, может, даже покалечил; и один тащил другого, как раненого из дыма рукопашной.

Этот тронутый чувак, с конским хвостом, все еще стоял

на коленях. Я подошел к нему и дернул его за хвост. «Вот тебе и вся твоя молитва!» Девчонка, подтянув трусы и колготки, убегала – босая, туфли схватила в руку и размахивала ими, и громко рыдала на бегу. В окрестных домах в окнах зажегся свет. Нас наверняка наблюдали, но никто не вышел помочь, спасти. Хвостатый придурок, стоя на коленях, потянулся и подобрал среди кирпичных осколков что-то маленькое и блестящее. Я рассмотрел. Украшение, дешевое сердечко, усыпанное приклеенными стекляшками, на черной резинке. Придурок повертел сердечко в руках, улыбнулся и прицепил его к своему лошадиному хвосту. Я, как ни сдерживался, все равно захохотал. Он тоже засмеялся, но не вставал с колен. «Ты что ржешь?» – «А ты что?» – «Я радуюсь, что девочка спасена». – «А мне смешно от твоего хвоста. Да еще это сердечко нацепил, умора!» Так мы оба хохотали, и не могли остановиться. Я остановился первый и подал ему руку: «Ну, хватит придуряться, вставай уже». Он взял мою руку, и я поднял его с колен.

Мы медленно, глубоко дыша ночным сырым воздухом, пошли по Большой Покровке, глядя на редкие фонари, на мигающие рекламы кафе, бутиков, ресторанов, аптек. Мокрый асфальт ободранной шкурой черной змеи стелился нам под ноги. Я крепко ступал в своих, уже поношенных берцах, придурок шел осторожно и изящно, как танцовщик, в обтерханных, может, с чужой ноги башмаках. Все на нем, кстати, было хорошее, стильное, и одежонка и обувка, толь-

ко очень уж потрепанное, будто собаками жеванное. Я косился на него и думал, где я мог его раньше видеть? Мы оба вошли в круг света от старинного фонаря, и он повернул ко мне голову. И тут я его узнал. Он был одним из гостей Баттала, приглашенных на Курбан-байрам. «Маска, блин, я тебя знаю», – радостно сказал я. Он таращился, ничего не понимал. «А я вас – нет. Давайте познакомимся?» – «Давай, – сказал я, – я не против. Ефим. – Я подал руку, он на ходу ее пожал. – А ты?» – «Андрей». – «А фамилия?» – «А зачем вам?» – Он улыбнулся, и мы из круга света опять нырнули во тьму. «Интересно же». – «Понятно. Мицкевич». – «Еврей, что ли?» Я хохотнул. «А если еврей, что смеетесь, зачем над евреями смеяться? – по-детски серьезно спросил придурок. – Нет, не еврей. Если бы был еврей, в обносках бы не ходил. И не жил, как я живу. Евреи хитрые и умные. А я дурак. Я поляк. Отец у меня был поляк. Его сюда во время войны из Польши привезли, вместе с детским домом. Он женился, меня родил, еще двух моих сестер родил и умер. В тридцать лет». – «Значит, ты уж немолодой пацан, выходит так». – «Да, так выходит. А ваша фамилия как?» – «А тебе зачем?» Он пристально поглядел на меня, мы опять вошли в полосу фонарного света, и глаза его заблестели – серые, прозрачные глаза, чистые, как вода в чистом далеком озере. «Я могу по фамилии предсказать судьбу. Ну, по буквам рассчитать. Нумерология. Законы цифр, символов и знаков». Я тут окончательно подумал: псих, и делать ноги надо, вот

до площади Минина дойдем, и там я ему на прощанье лапу пожму, и распрощаемся. Хоть мне и страшно любопытно было, что он делал на празднике у Баттала, и зачем у Баттала есть еще и такие друзья, придурки.

А впрочем, все мы придурки, внезапно сообразил я; все революционеры, с точки зрения обывателя, придурки, и все художники придурки, и все верующие для атеиста – придурки, а мы, взрослые, для наших детей еще какие придурки – чем мы занимаемся, зачем так друг на друга страшно орем, зачем ночами ложимся друг на друга и тремся друг об друга, и орем опять. Ребенок следит за всем этим и думает: точно, придурки, а кто же еще?

Я так и не сказал ему тогда свою фамилию. И вообще мне давно хотелось взять себе псевдоним. Ну, даже просто кличку. Ведь у нас, в нашей партии, у многих были кликухи: Заяц, Шило, Ширма, Медведь, Гауляйтер, Погон, был даже парень, которого мы все почему-то звали Родимчик. И лишь меня одного звали, как в детском саду – Фимка. Фимка то, Фимка се! Один Гауляйтер звал меня Ефим, а иногда на партсобраниях обращался уважительно: Ефим Геннадьевич. Он один знал мое отчество, потому что заполнял на меня партийные документы.

Мы вышли на площадь Минина, она была вся сырая и черная, и огни отражались в мокром асфальте, вспыхивали, гасли и снова плыли, и мы, стоя на берегу площади, плыли, дрожа от холода в куртенках на рыбьем меху, вместе с ни-

ми. Мицкевич поднял воротник: «Ну что, где вы живете, вас проводить?» – «Это где ты живешь, тебя проводить?» Мы оба враз засмеялись. Мне было тепло рядом с этим придурком, даже в холодный дождь. «Я видел тебя на Курбан-байраме у Баттала. Что ты меня называешь на вы? Церемонии какие! Давай выпьем на брудершафт тогда!» – «Но у нас нет вина», – развел Мицкевич руками. «Включи мозги, – я назидательно поднял палец. – И осмотрись! Видишь таксистов около сквера?» – «Вижу». – «У них можно купить водку. У тебя деньги есть?» У меня тоже были, но я решил сэкономить. Мицкевич, болезненно морщась, пошарил в кармане и вытащил две купюры. Мы подошли к такси, я постучал в окошко, таксист открыл, молча взял у нас деньги, молча протянул бутылку. Я открыл затычку зубами. Мы подошли к молчащему фонтану, на высохшем дне фонтана валялась сломанная кукла. Изнасилованная. Я поднял бутылку и торжественно сказал: «Пьем!» Мы скрестили руки. Сначала глотнул я, потом он. Его усы смешно шевелились, ну морж и морж. «Валяй, говори мне: ты». – «Ты», – сказал Мицкевич, а потом сказал: «Даже жарко стало!»

Мы выпили всю водку без закуски, озирали ночную площадь, на душе было хорошо и привольно, а потом я провожал Мицкевича – он жил в заброшенном нежилом доме, дом объявили аварийным, из него съехали все жильцы, а вот Мицкевич остался. Мы спустились вниз, в подвал, по деревянной шаткой лестнице. Дверную обивку всю исцарапали

кошки. Мы вошли в это логово, и нас нас пахнуло плесенью. Мицкевич с натугой повернул рубильник, и вспыхнул свет. Я озирался. Повсюду валялся хлам. Среди хлама звездно светились хорошие вещи – малахитовый колокол, старая икона, янтарные четки. Тряпки, доски, паутина, скомканные бумаги возвышались, как холмы в степи. Мицкевич подошел к столу, заросшему слоями грязи, и включил электрический чайник. «Знаешь, Ефим, у меня есть такой чай, пальчики оближешь. Из Леванта. С кусочками лимонной цедры, с лепестками васильков и с бутонами роз. Ты когда-нибудь пивал такой?» – «Нет, не пивал, и в такой грязюке никогда не едал, – хохотал я уже в голос. – У тебя, Мицкевич, бабы нету, что ли?» – «Мне не до бабы, – сумрачно отвечал он, – я занимаюсь эзотерикой. И восточными учениями». – «Елки зеленые, а чем же ты живешь, эзотерик?» Он снял куртку, взял свой хвост в руку и потряс им в воздухе, и во все стороны полетели брызги, будто собака отряхивалась. «Иногда, не часто, я сам назначаю день, у меня собираются люди, они хотят понять, почему мы живем на свете. Я объясняю им, почему. И как спасти свою душу. Мы рождаемся в смерть, а умираем в жизнь. Смерти не надо бояться. Это всего лишь переход. Мы перейдем, и там начнется настоящая жизнь. Только Христа, знаешь, извратили. Его совсем переиначили, распотрошили и поставили с ног на голову. Я пытаюсь вернуть людям настоящих богов. И настоящего Христа в том числе. И настоящего Будду. И настоящего Кришну, Вишну

и Шиву. Поставить их с головы на ноги. Я ездил тут недавно к Серафимушке. Серафимушка сказал мне: ты все делаешь правильно! Продолжай! Мое благословение с тобой». Я слушал и мысленно чертыхался. «Кто такой этот Серафимушка, ексель-моксель?» – «Как! – Он воззрился на меня, будто это я был придурок, а не он. – Ты что! Включи… как это… мозги! Серафим Саровский!» – «Но жрать же ты не будешь благословение Серафимушки!» – «Эти люди, кто слушает меня, приносят мне на занятия деньги. Немного денег, кто сколько сможет. Я никогда не назначаю цену. Человек сам решает, нужно ему это или не нужно. Если у него есть совесть, она ему сама подскажет, как быть. И сколько пожертвовать. Да все мы, в сущности, жертвы. Мы все уже валяемся, связанные, на жертвенном камне. А мы всё думаем – мы владыки». Я рассматривал муравейник, он возвышался между стеклами подвального окна. Муравьи сновали неугомонно и безумно, туда-сюда, туда-сюда. Они что-то тащили на себе, о чем-то сокрушались, куда-то скопом бежали и где-то умирали. А потом рождались опять. И никакой доморощенный эзотерик их не спасал. «А Баттала ты откуда знаешь?» Он ответил вопросом на вопрос: «А ты откуда?» И снова мы смеялись.

Чайник щелкнул, Мицкевич любовно, внимательно, будто бы гладил волосы женщины, заварил чай. «Баттал прекрасен, – тихо сказал он. – Баттал – это тот человек, что явится на землю через пятьсот, может быть, через тысячу лет, если земля будет жива. И тогда земля его узнает. А сейчас зем-

ля его не узнала. Он живет под тяжелой крышкой сундука. Сундук закрыт. Пока – закрыт. Но придет другой человек, не Баттал, и сундук откроет. И тогда вылетит дым огромной войны, а за ним засверкает золото невиданного мира. Кришна и Арджуна прискачут на конях, она сразятся за нас, людей, с богами, и победят, побьют богов, а боги великодушно простят их и простят нас. И мы тогда родимся опять, мы с тобой. Мы можем там друг друга не узнать. Узнают – нас. К нам придет Будда, улыбнется нам, подсядет к нам за стол и будет вместе с нами пить чай. Да он и сейчас пьет чай вместе с нами. – Мицкевич опустился на одно колено и опять сложил руки лодочкой, как там, на улице перед мусорным контейнером. – Добро пожаловать на бедную трапезу, любимый Будда! Мы любим тебя! Угощайся, чем богаты, тем и рады!»

Я слушал весь этот бред и удивлялся, что я все еще здесь сижу и слушаю все это. Но было так тепло, и телу и душе, и чай так ароматно пах, и вовсе он не был не из какого-то там Леванта, а наверное, Мицкевич сам собрал траву в ближнем овраге и насушил на зиму. Он пододвигал воображаемому богу Будде чашку на блюдце. Чашка была немытая сто лет, и блюдце тоже, на поверхности чая плавал бутон розы.

Так мы с ним скорешились, с Мицкевичем. Когда мне тошно становилось в штабе, я направлял стопы к Мицкевичу, и мы пили его эзотерические чаи, а иногда и кофе, он выпивал чашечку кофе, жеманно отставляя мизинец, потом клал ногу на ногу и закуривал сигарету, и грациозно курил –

ну точно аристократ, голубая кровь, гонорова шляхта. К жене Баттала я боялся заходить: беременная баба, ей нужен покой, а я тут кручусь, опять давай мне жрать, пить, занимай меня разговорами. Нет, вру. Не этого я боялся. Я боялся посмотреть ей в глаза. Что-то в ее глазах было такое, от чего внутренности мои закручивались в жгут, и их кто-то выкручивал, чьи-то могучие и жестокие руки, и на землю капала соленая горячая влага.

И все-таки мне пришлось появиться у нее. Пришлось. Не хотел, а вот деваться было некуда.

Мусорка, помойка – наши вечные зады, зады на месте сердца, наша изнанка, которая в конце концов становится лицом, это символ моей жизни, я рядом с ними в юности курил, и даже травку, я за мусорками впервые чмокнулся с девчонкой, за мусоркой мне набили на плечо первую в жизни тату – кельтский крест на правое плечо. Я корчился от боли, а краска растекалась под кожей, и медленно из плеча на поверхность боли всплывал крест – противного болотного цвета, мне сказали, он потом потемнеет. Потемнел. Святое – а рядом мусорка. И так все и всегда. Привыкнуть уже пора. Иду из штаба в магазин, купить сигарет. Утро туманное, осень плавно переходит в чертову зиму. Слышу из мусорки странный писк. Думаю: котенок. Кинули в отбросы, погибай, никчемная душонка. Иду мимо. Мало ли котят гибнет в мире! Всех не пережалеешь! И тут писк становится громче. И это уже не писк, а плач. Плач взахлеб. Человечек! Че-

ловек кряхтит! Я развернулся и шуранул к мусорке. Наклоняюсь, там, среди всякого разного дерьма, сверток. Хватаю его! Кладу на землю. Разворачиваю. Отгибаю грязную тряпку. Из тряпок глядит личико, лицо. Младенчик, уродливый, синюшный, кривит рот в крике, веки припухли, глаза-щелки сочатся гноем. Я поднял его, и дальше я все делал, не думая, на автопилоте. Дошел до остановки, сел в автобус, поехал. Вылез около дома Баттала. Поднялся по лестнице, ребенок уже не орал, а хрипел, я позвонил. Обрывки мыслей мотались в голове: надо было вызвать «скорую»… в полицию… в дом малютки… в МЧС… Но было поздно. Жена Баттала мне открыла дверь.

Я глупо стоял напротив нее с ребенком на руках. Ребенок дергался в грязных тряпках, извивался гусеницей и издавал поросячьи звуки. Женщина отступила на шаг и сделала рукой приглашающий жест. Она молчала. Она вообще все время молчала. Нет, говорила, конечно, но изредка. Мне нравился ее голос. Глубокий, нежный, низкий и взрослый. Будто мы все были дети, а ей было сто лет, и она знала все про нас и время. Я перевалил через порог, протопал в гостиную, давно я тут не был, близнецы выкатились из спаленки и хватали меня за джинсы, и висели на ремне. «Это твой ребеночек, Фимочка?! Твой, да?!» Я протянул младенца Раисе. Она взяла его у меня из рук ловко, умело, старой, отточенной материнской хваткой. Положила на диван, размотала тряпки. Голый ребенок, мальчик, красный флажок мотался

меж ног, оказался красно-смуглым, будто загорелым, круглым, гладеньким, как резиновый кукленок. Близнецы подбежали и сунули было к нему руки, мать наклонилась и шлепнула их по рукам. Они отскочили. «Набери теплую ванну», – сказала женщина.

И, как тогда, когда мы мыли вместе спасенного из гроба Баттала, мы мыли в теплой воде найденыша-младенца, и пенился шампунь, и наши руки сталкивались под мыльной водой, скользкие, чужие, родные. Я, осторожно придерживая ребенка под мышки, спросил: «Может, зря я тебе его приволок? Надо было бы врачам, а, как думаешь?» Раиса водила губкой по спинке младенца. Мальчонка закрывал от удовольствия глаза, и подобие юродивой улыбки вылетало из его беззубого рта. Женщина молчала. «Или в дом малютки, ну, там в приют какой-то? А? Но я подумал: вот у тебя двое, третьего ждешь, там, где трое, ну там и четверо. Глупо подумал, да?» Она молчала. «Сам я не могу взять, ты ж понимаешь, а то я бы взял. Но мне некуда. Я даже собаку не могу завести. Ночую в штабе на голых досках. Уже заколебался так жить». Она молчала. Мы вынули ребенка из ванны, насухо обтерли, и женщина запеленала его в чистые пеленки. В доме Баттала все было чисто, как в операционной, почти стерильно. Я думал про Раису: она встает в четыре утра, и все чистит, чистит, чистит, моет, моет, моет, потом стряпает, все стряпает и стряпает. И так весь день. И ложится затемно. Вот она, в бога-душу-мать, жизнь женщины. Как славно, что я родил-

ся мужчиной. Я обтер руки полотенцем, потом крепко вытер потное лицо, потом хотел засмеяться и не смог. «Прости, что подарил тебе такой подарок». Она молчала. Я выкатился, так мяч выкатывается из футбольных ворот, когда его зло пнет голкипер.

В штабе все чаще говорили об отряде ополченцев. Мы включали старый телевизор с экраном полосатым, как зебра, толпились у ноутбука Гауляйтера, выискивая тексты и видео – как там сейчас, где идут сражения, как наши бьют ненавистных укров, а то даже, как укры схватили ненавистных наших и мучат их, и пытают. «Да, чуваки, эта заваруха там у них будет пострашнее Чернобыля!» – вопил Заяц, а спокойный Ширма спокойно басил: «Чернобыль был лучше, потому что там все были герои». – «И тут тоже есть герои! Герои это мы, русские! Это – весь Донбасс!» – «Нет, – спокойно и печально отвечал мудрый, как Будда, Ширма, – нет, Зайчонок, вовсе нет. Тут нет героев. Свои бьют своих, какие же это герои». Заяц не сдавался. «А вот у нас гражданская! А?! Наши герои! В будёновках! Щорс, Чапаев, Блюхер, Гайдар! А?! Ведь это же герои!» Ширма клал огромную лапищу на маленькую, нервно дергающуюся лапку Зайца. «А ты знаешь, сколько Гайдар мирных жителей по сибирским селам положил? И расстреливал из пулемета, и шашками рубил, и вешал? Крестьян! Мужиков! Баб! Детей! Вся Хакасия стонала». – «А тогда зачем теперь героя из Колчака сделали? Ведь и он не герой. Верховный правитель! Где утопил, собака,

царское золото?» Подходил Родимчик и вяло цедил сквозь табачные зубы: «Царское золото белочехи потырили. И в товарняке – в Прагу переправили. Все так просто, как в аптеке. А мы зевали во всю пасть. Друг друга колошматили, точнее». Ширма со вздохом вставал, и его необъятная грудь заслоняла оконный тусклый свет. Он печально смотрел сквозь решетку. «Может, и чехи. Хрен с ними. За давностию лет… Мы-то видим, что на Украине творится. Оно то же самое, что и у нас в восемнадцатом году». – «Нет, не то же самое! – возвышал голос Родимчик. – Не то же! Там конкретно укры долбанули русских: нельзя говорить на родном языке, все розмувляют на мове, и баста! Ну, русские и восстали. Ведь язык, бляха-муха, это народ!» Я слушал и курил. Язык, народ. Началось с языка, а закончилось лужами крови. Если язык – это кровь, а кровь – это народ, так, значит, все правильно.

Гауляйтер составлял списки ополченцев. Я пока никуда не попадал. Мне кажется, Гауляйтер меня жалел. Он думал, он один понимал, что там, на Украине, царствует, с наглой рожей, настоящая смерть; но один из лозунгов нашей партии ведь и звучал так: «Да, смерть!» – так что же удивительного в том, что я к ней рвался? А скажите, что мне было делать? Я убил отца. А матери у меня никогда и не было. Меня бросила девушка. У меня уехал в чертову Сирию мой лучший друг. У меня не было детей. Я жил на ящиках в казенке. Вот честно, скажите, ну что мне еще оставалось делать?

И, если вы думаете, что на Украину ехали одни только от-

морозки вроде меня, исключительно умирать, смерти в полях под минами искать, то вы ошибаетесь. Сражаться за новое государство, что внезапно, как черт из табакерки, появилось на востоке Украины, ехали вполне нормальные люди – приличные, я их так называл, ну да, приличные. Не люмпены, отнюдь: музыканты, журналисты, инженеры, да даже крестьяне из деревень. Русские, они ехали биться за русских. И что, скажете, это несправедливо? Или как-то там зверино, жестоко? Да, нет, это нормально. Говорю вам, нормально. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Я хату покинул, пошел гадов бить, чтоб Новороссии родиться и жить. Да нет, она уже родилась; я всех тонкостей не знал, понятно, я ведать не ведал, как Украину уже мысленно разрезали и поделили меж собой владыки мира, но по телепередачам и всяким там интернетам я представлял себе это так: гадские налеты, сволочные обстрелы, а мы, герои, на огонь отвечаем огнем, мы – защищаемся. А что, если нам сколотиться всем поближе, собраться в кулак, замахнуться и самим напасть? Наступать, да, наступать! И гнать этих позорных украишек аж до самого Киева! А потом что, до Европы-жопы пройтись, так, на досуге? И повторить, через года, шествие великой победы? Тут у нас в городе на День Победы выплескивалось на улицы море народу, и все шли и несли над головами фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, или выживших, не все ли равно, в войне с проклятым немцем. Фашисту смерть! Сколь-

ко раз увидишь его, столько раз его и убей! А я заглядывал внутрь себя и спрашивал себя: эй, Фимка, а у тебя кто воевал, ты помнишь об этом, ты-то знаешь это, или ты беспамятный дурак, и никто тебе никогда не сказал, кто у тебя в роду на войне сражался? Отец никогда не говорил со мной о предках. Мать исчезла, когда я еще повизгивал в люльке. О родне мачехи я знать ничего не хотел, и, даже если б она мне стала заливать о своих родичах, я бы зажал уши руками и скатился с лестницы. Так вот, наши в ту, прошлую войну наступали. Почему в нынешнюю войну, если уж она развязалась, треклятая, нельзя поступить так же? Чего боятся наши командиры? Что нам, на летние квартиры? Иногда в штабе появлялся Тройная Уха. Он толкал при всех речи примерно о том, о чем я думал в одиночку. Надо сплотиться, надо наступать, вещал он настойчиво и напористо, у нас просто другого выхода нет! Иначе задавят нас! «Помните, ребята, тактика войны: бей п-первым! Любой войны, будь то дворовая драка один на один, или в-война мировая!» – «А война на Украине, эй, скажи, это что, начало третьей мировой войны, да?!» – орал бритый, как скинхед, революционер по прозванью Кувалда. Тройная Уха тонко улыбался. Он всегда знал, что быстро и четко отвечать. Так, чтобы задавший вопрос и не задумался, истина это в последней инстанции или что другое, потухлее. «Не исключено. Любой в-военный очаг может им стать. Однако поглядите на историю. Вон сектор Газа. Огненная точка? Огненная. К-кто ее только не дубасил.

Началась мировая война? Не началась. Вон с-сербов бомбили. И хорваты их лупили, деревянными молотами по головам, и в озерах топили, и ж-живьем сжигали. Америка самолет за самолетом на Балканы посылала, в б-брюхе бомбовая икра. Огонь? Огонь. Война? Война. И в-весь мир, варежку открыв, на эти бомбежки глядел – и пальцем о палец не ударил. Только г-глотку надрывал, ну да глотка луженая. И что, началась мировая война? Нет, то-то и оно. Не всякий огонь обнимет п-планету! Планетка у нас еще крепкая, ого-го!» Кувалда слушал и мотал головой. То ли соглашался, то ли разъярялся, не поймешь.

Первый автобус с ополченцами из нашей партии уже ушел. Тройная Уха сказал: там не только наши партийцы, там и простых нижегородцев навалом. «Ну вот, а еще брешут с высокой трибуны, что на Украине русских войск нет!» – пискнул Заяц. Тройная Уха глянул на него презрительно, раздавил взглядом и потом словом растер, раздавленного, до мокроты. «Армии нет, а с-солдаты есть. Русские солдаты на Украине – это мы и есть. А тебе что, хотелось бы, чтобы было иначе? Чтобы палочкой взмахнул пацан, Гарри такой П-поттер, и – р-р-раз! – война прекратилась? Эта музыка надолго, и без русских солдат, без н-нас то есть, Украине не обойтись», – Тройная Уха потер кулаком лоб и внезапно хорошо, широко улыбнулся Зайцу. Хорошая, светлая была улыбка у Тройной Ухи. Мне всегда хотелось ему улыбкой на улыбку ответить. Второй автобус готовили, я подка-

тывался к Гауляйтеру и канючил: «Запиши меня!» Гауляйтер больно тыкал меня локтем под ребра: «Гуляй, ты молодой пацан. Жить надоело?» – «Мы здесь все молодые!» – возмущенно кричал я. «Хочешь, в зубы дам?» – миролюбиво вопрошал Гауляйтер. Я тогда еще не знал, что Шило убьют в битве за Донецкий аэропорт, что Зебре оттяпают руку и ногу после Дебальцева, Гауляйтера в Нижнем Новгороде посадят в тюрьму за экстремизм и разжигание национальной розни, а Тройная Уха никуда сражаться не поедет, но напишет толстую книжку про Донбасс и дико с ней прославится, и по ней будут снимать кино.

И вот все мрачно и торопливо готовились к Украине, горячей и пылающей, нашпигованной смертью, а я не готовился, только завидовал, пускал слюни и канючил. В глубине души я знал, что все равно поеду; от дедушки уйду и от бабушки уйду; ну украду у кого-нибудь денег на билет, сработаю какой надо паспорт и помчусь туда, под пули. Я, если честно, не знал, нужна на Украину виза или не нужна, досматривают там на таможне или нет; после ихнего Майдана там все, видать, у них порушилось, границы затрещали, а тут Донецк и Луганск подсуетились, взяли да заорали хрипло и надсадно: «Свобода!» – и оторвались от сиськи матери, и сами поплыли, а весь мир на них загавкал: как так можно! это преступление! это Россия подначила! это русские разведчики заварили донецкую кашу! это диверсия, свободную страну топчут, не потерпим подлых террористов и коварных сепара-

тистов! – это, значит, нас, русских. Неважно, русских России или русских Украины; один хрен. Я глядел в хитрющую рожу Гауляйтера и чувствовал: нажать еще чуть-чуть, дожать, он расслабится, растает. Зачем, за что он меня жалеет? За то, что я сирота? Знал ли он о том, что я сделал с отцом? Никто не знал, и я сам не знал тоже.

И вот случилось чудо. Дожал я-таки Гауляйтера. Он подмигнул мне и тихо, почти шепотом, пообещал: «Отправлю я тебя. Постараюсь. Как? Без списков. Ты об этом не думай. Живи себе пока». Вместо ящиков Гауляйтер приказал партийцам притащить, у кого есть, в штаб старую кровать. Не раскладушку, не матрац надувной пляжный, пошлый, а именно полноценную кровать. Заяц и Родимчик вдвоем ту кровать приволокли. Чья-нибудь старая бабка на ней дрыхла. Спинка никелированная, и под спинкой решетка, а над решеткой блестящие стальные шишечки торчат. Умиление. Я, прежде чем заснуть, гладил эти шишечки, и у меня постыдно щипало в носу. Я не плакал давно и уже забыл, как это делается. Сны мне снились на этой кровати с шишечками удивительные. Хоть записывай, какие сны. То я плыву на корабле, а на нем восстание, все матросы с ножами, гранатами и наганами, а пассажирки – одни женщины, и все, как на подбор, беременные. То я на старом чердаке, среди всякого хлама, будто бы в подвале Мицкевича, но в окно высунусь – высоко над землей: чердак, – и на полу лежит голый человек, и у него ярко-синяя кожа, а рядом с ним лежит

очень красивая птица, хвост разноцветный, сияет и золотом, и изумрудом, я проснулся и понял, что это павлин. То привиделась куча детей, и все они куда-то бегут сломя голову, бегут и орут, а дети крошечные, меньше Раисиных близнецов, и они бегут так быстро, так часто перебирают ногами, что мне кажется, у них у всех не по две ноги, а по четыре. А над головами детей горит яркий круг, он слепит мне глаза, и я понимаю – это что-то в воздухе взорвалось, взорвалось и раздувается, и все ярче становится, вот уже на этот шар и глядеть нельзя, – и я во сне понимаю: это ядерный взрыв, и ни один ребенок не спасется, зря бегут, сейчас сожжет их это всемогущее пламя. И я сам, во сне, реву медведем, ору, трясу кулаками у себя над головой, будто бы хочу остановить то, что произойдет, что уже происходит. И не могу. И понимаю – не умом, а нутром, всеми печенками, – что – вот оно, всё.

Втихаря и загодя я собрался. Мне партийцы подарили старый рюкзак. У Баттала, конечно, рюкзак был фирменный, куда круче. Но дареному коню в зубы не глядят. Складывать в рюкзак мне было нечего: зубная паста, зубная щетка, плавки, рубаха, свитер. Косуха на мне. «Купи себе теплые носки, зиму обещают холодную», – сурово, как на швейной машинке мне руку прострочил, сказал Гауляйтер и сунул мне за пазуху тысячу рублей. Мне все время кто-то что-то совал. Я стал таким странным побирушкой. Надо было денег – я когда-то протягивал руку к отцу, я за руку его тряс,

тряс за плечи, визжал, клянчил. Но вот отца нет, я остался один, и все же я не умер – то Баттал меня спасал, то Тройная Уха, то Гауляйтер, то все наши – чебуреки мне тащили, пиво, курево. Нет, я не умирал, я жил сносно и временами очень даже славно, но я чувствовал себя нищим на паперти. Унижало это меня? Я не знал. Я предпочитал об этом не думать. Еще в рюкзак я засунул толстую тетрадь – записывать, что на ум взбредет, – еще лупу: а вдруг что-то мелкое, ничтожное надо будет хорошенько рассмотреть. «Паука, что ли, разглядывать собираешься?!» – ухохатывался Ширма. А тут вдруг еще одно чудо свершилось: Гауляйтер приволок мне нетбук. Маленький, беленький, вернее, уже такой грязненький, что из когда-то белого он стал серым как мышь. «Военкор, мать твою за ногу! – беззвучно смеясь, сказал он и щелкнул ногтем по крышке бывалого нетбука. – Будешь нам заметки отправлять! Вождь на сайте в Москве тискать будет!» Я прижал нетбук к животу, выпрямился, взбросил косо ладонь и заполошно крикнул: «Хайль фюрер!» Гауляйтер закрыл уши ладонями и заржал, как необъезженный конь.

Я глядел на рюкзак, он валялся под моей кроватью с шишечками, и думал: вот мой дом, моя кровать, и я скоро все это покину и рвану на Украину. Война ждала меня. И я ее дождался.

Перед отъездом я набрался храбрости и поехал туда, где я жил раньше. Я слез с автобуса, шел знакомыми улицами, но-

ябрьские деревья хлестали меня ветками по лицу, я не узнавал тут ничего, а ведь я жил тут только вчера. Я нашел дом и долго стоял, глядя на его номер и название улицы на табличке. Потом вошел в подъезд – в нем, как всегда, пахло кошачьей мочой, – впал в тесный лифт с горелыми кнопками и нацарапанными на стенках матюгами, нажал кнопку и медленно в этой пахучей мышеловке поехал вверх. Я ехал и думал: я ли это еду, и зачем я туда еду, ведь все, к лешему, погибло, да и я сам погиб, да и все это не нужно, все ни к чему. Лифт раздвинул двери и выпустил меня. Хорошо, что я не выбросил ключ от квартиры. Я, наверное, целый час стоял перед дверью, прежде чем засунуть ключ в замок и повернуть его. Наконец я сделал это. Дверь не была закрыта на «собачку». Я вошел беспрепятственно. «Домой, – говорил я себе, как под гипнозом, – домой, домой, я пришел домой». Я врал себе и не краснел. Безошибочная пустая тишина обняла меня. Так, что я чуть не оглох. Дома не было никого. Дом был пуст. Пуст, как вылущенный орех. Даже шкафа не было, которым отец и мачеха загораживали свой семейный диван. Даже кресла и стульев. Голые стены. Повсюду валялись никчемные тряпки, будто тут наспех собирались и не успели всю одежду в сумки затолкать. Одна странная вещь стояла ближе к окну, на полу: птичья клетка. В клетке лежал, лапками кверху, мертвый попугай. Я подошел ближе, и засмердело. Я зажал нос и посмотрел на балконную дверь. Она была плотно закрыта, более того – обклеена липкой лен-

той, как от морозов. И окна тоже были заклеены. На зиму. Я подошел к клетке, поднял ее с пола, рванул на себя балконную дверь, она открылась с треском, липкие ленты свернулись спиралью. Хлынул холодный воздух. Я вышел на балкон и вытряхнул из клетки мертвого попугая на снег. Следил, как он летел, растопырив мертвые синие крылья. Я стоял на балконе, держал в руках клетку и рассматривал ее, пустую и бесполезную. И вдруг я понял, что я вышел на наш балкон в первый раз. Впервые после того, как с него в детстве навернулся. Что я стою на балконе, куда я не выходил никогда. И мне не страшно.

И я засмеялся.

Я шагнул внутрь квартиры и прошел на кухню. Распахнул холодный шкаф под кухонным окном. Отвалил кирпичи и просунул руку в мой тайник. Я вытащил из тайника паспорт, поддельный студенческий билет, он запросто мог пригодиться, деньги, там все еще лежали царские пять тысяч, я их вынул когда-то из живого кошелька, из мертвого отца, и пальцы нашарили еще что-то, в глубине каменной выемки, холодное и гладкое. Я вытащил это гладкое и стеклянное. Это была бутылка водки. Я сунул документы и деньги за пазуху, бутылку в карман косухи и ушел. Крепко захлопнул дверь и даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее.

Гауляйтер сдержал слово. Я толкся вместе со всеми, когда все по перекличке садились в автобус, ошивался рядом с ко-

мандиром – так мне велел Гауляйтер. Командир, я не знал его имени, все посматривал на меня, косился. Думал, должно быть: почему я в автобус не сажусь? Может, на дорожку курнуть хочу? Все сели, и тут Гауляйтер подошел к командиру и показал пальцем на меня. Крикнул бодро: «А это военкор наш! Будет тебе статьи клепать, о наших героях, зашибись!» Командир недолго думал. Кивнул на еще раскрытую дверь автобуса, и я со своим рюкзачком задохлым, а в нем дареный нетбук, впрыгнул туда, куда прыгать было не надо.

Дорогу я плохо помню. Я вообще плохо автобус переношу, если ехать долго, меня тошнит, и я дико хочу спать, вот уж такой я хилый парень. Иногда мне становилось совсем уж дерьмово, и я открывал окно и травил прямо на шоссе. Наши смеялись. А что не посмеяться, цирк же бесплатный, Фимочка блюет, изнеженная деточка. Мы не спрашивали, куда едем. По обе стороны автобуса расстилалась рыжая, сухая, мерзлая осень. Мы подкатили к беленому домику в чистом поле, и я увидал – поблизости, в сухой рыжей траве, коровы пасутся. Странные коровенки: маленькие, как козы, и все сплошь черные, и плотно прижимаются боками друг к дружке, так, что издали выглядят как громадный черный утюг, что гладит грязное золото поля. «Что это за звери?» – спросил я командира, я ближе всех к нему сидел, он на переднем сиденье, и я на переднем. «А, – он развеселился, – это, знаешь, американские коровки. Выносливые, стервы! Воронежский губернатор распорядился доставить из Америки этих

коровок. Из Монтаны! Ну полная монтана, я тебе скажу. Скачут по полям, морозы переносят! Им и хлева не надо – огороди загон прямо в поле, и делу конец!» Я смотрел на черных коровок и думал: а вот меня убьют, и я никогда ни в какой Монтане не побываю. И радость и гордость распирала меня изнутри.

Зимуют в полях, ночуют под открытым небом, под звездами, на ветру. Я никогда не думал, что мы в Донецком аэропорту будем ночевать, как те коровки. Даже еще хуже. Люди круче коров. Людей выкинь в открытый космос, и там они выживут.

Беленый домик оказался границей. Никто документов у нас не проверял. Из домульки вышел старик в камуфляже, козырнул автобусу, махнул рукой: проезжайте! Шофер дал по газам. Мы поехали все по той же земле, рыжая трава клонилась под морозным ветром, но это был не ковыль, это я точно знал. Земля все та же, а это уже Украина. Вернее, то, что вчера было ею. Луганская народная республика. Ноябрь кончался, наваливался из-за полей декабрь, и никто из нас не знал, встретим мы на земле Новый год или уже не встретим. Смерть! Здравствуй, мы тебя уже видим, мы близко! Привет! Но нигде не стреляли, и мины не рвались, и зенитки не бухали, и мы все в автобусе начали потихоньку посмеиваться: ну где же она, война?

В поле под Луганском мы остановились и поели, чтобы спокойно пожевать, без тряски, да и водитель чтобы пожрал.

Высокое небо светилось над нами близким морозом. Ледяные перья облаков высыпались из божьей подушки. Боженька там проснулся, глядел спросонья на землю и думал: черт, как же вы все мне надоели, люди, коровы, черви. Мы разворачивали вощеную бумагу и целлофан, вынимали разномастную еду – кто домашние блинчики с мясом, кто казенный хот-дог, кто пошлый банан, кто стеклянную банку с супом-лапшой, и хлебал этот холодный суп через край, кто бутерброды с колбасой, и все жевали, улыбались и подмигивали друг другу, и бормотали тому, кто ел бутерброд: «Русская у тебя колбаса-то, русская?! Русская! Нам украинской не надо, запомни! И сало, попробуй только сало жрать! Сам салом станешь!» Автобус опять потрясся по дороге, и, когда мы услышали первую канонаду, мы все переглянулись. Все это было реальностью, эта война, и вот мы на нее приехали. Командир наш подобрался, как волк перед прыжком, у него сделалось такое четкое лицо, будто из меди вычеканенное. Он осмотрел всех нас одним быстрым взглядом и громко, отчетливо сказал: «Слушай мою команду! Если снаряд попадет в автобус – пригнись, руки на голову, ложись на пол! Лицом вниз! Поняли?!» Мы все потрясенно молчали. Только находчивый Заяц проверещал тонким, диким голосишком: «Есть, товарищ командир». Командир еще раз обвел всех глазами: «Аэропорт обстреливает артиллерия, еще обстреливают его из гранатометов и из стрелкового оружия. Приедем, вам всем выдадут оружие на месте». Я почему-то поду-

мал: вот ребят убили, от них остались автоматы и винтовки, и теперь их нам передадут, как факелы. А потом нас чпокнут, и у нас, мертвых, оружие отберут, и новым смертникам вручат. Ничего веселого не было в этих мыслях, но я все равно тихо, беззвучно, как придурок, смеялся. Я вспомнил Мицкевича и его хвост. А может, меня не убьют, и я буду тут воевать так долго, что у меня тоже вырастет хвост; и, когда я вернусь, мы с Мицкевичем будем сравнивать хвосты, у кого длиннее. «Что ты покатываешься? – сердито спросил меня Шило. – Плакать надо, а ты ржешь».

Уже вечерело, когда мы прибыли на место. «Это и есть передовая?» – развел я руками перед Зайцем. «Мог бы не спрашивать», – ответил Заяц и мотнул головой назад. Я поглядел наверх, за его затылок. Я увидел руины, эти здания когда-то ослепляли праздничностью, люди сюда прибывали, таращились на это все и думали: вот оно, счастливое будущее. Обгорелые до железного скелета стены. Камни сыплются. Я не успел ахнуть – над нашими головами просвистело и ударило. Мы все повалились на землю. Командир тоже. Когда подняли головы, лица у всех стали черными. Заяц снял с себя камуфляжную теплую шапку и вытирал лицо. «Артобстрел, – сухо сказал командир. – Всем быстро в землянку! Там переждем, потом двинем в аэропорт». – «Это аэропорт?» – тупо спросил я. «Ну да, донецкий аэропорт, – хохотнул Ширма, тяжело обрушивая свое квадратное тело в землянку. – А ты думал, малахитовое джакузи? Только лай-

нер тебе не приготовили, на Майами-Бич лететь!» В землянке было на удивление уютно. И тепло. Трещали дрова в буржуйке, на ней стоял и кипятился квадратный и громадный, как Ширма, армейский чайник. Он вскипел, забулькал, и подошел живой огромный, толстый человек, взял обеими руками чайник за деревянную обгорелую ручку и стал разливать кипяток в рядком составленные прямо на земле кружки. От грузного человека пахло землей. И у него было такое широкое, круглое лицо, что мне казалось – сама земля из глубины чертова черного неба медленно, неотвратимо катится на меня. Да, толстое, крупное лицо обернулось ко мне и прямо на меня покатилось. И тогда я увидел: это женщина. «Шо вылупывся? – сказала земля нутряным, подземным голосом, темным хрипом. – Ось, бери филижанку. Пий. Зихриешься». Я наклонился, будто бы кланялся ей, земле, и взял с земли, из-под ног, дымящуюся чашку и обжег руки.

Женщина-земля воевала в ополченском отряде. Среди ополченцев она жила и дышала незаметно, двигалась невидимо, но все, что она делала для воюющих мужиков, было им нужно как воздух. Она была земля, и по ней чуть ли не ходили; из нее, из ее теплого черного, толстого нутра вылетали потешные, кривые и беззубые словечки. Артобстрел кончился, и мы все повылезали из землянки, а живая земля махнула нам грязной, в саже, рукой: «Айда до хаты!» И мы все двинули до хаты. Хата располагалась в одном из залов разбомбленного аэропорта. Там, где еще была крыша. Мы все ввa-

лились туда, гомонили, возбужденные: наш первый обстрел! наш первый кусок войны, и мы его сжевали! Мы – живы! Круглорожая баба обвела бетонные мрачные стены рукой: «Сидайте, панове». Я наклонился к Зайцу. «Поди ж ты, хохлушка сраная, а с ополченцами». Заяц сморщился. «Брось, здесь все на таком суржике болтают». Тут стоял трехногий стол, вместо отломанной ноги ребята подставили ему цинк из-под патронов. Над нашими головами переплетались ребра арматуры. На миг я забоялся: а ну обвалится потолок? Еще здесь стояли три дивана – наверное, раньше они стояли в зале ожидания, и на них спали утомленные пассажиры и играли дети. Бритый Кувалда растянулся на диване, закинул руки за голову и притворно захрапел. Я почему-то подумал: вот, если доживем, мы тут, в этом бардаке, будем встречать Новый год. Над проемом, что служил вместо двери, сквозняк шевелил мрачный брезент. А брезентом гроб обобьют, озорно и жутко думал я, или мой труп накроют, чтобы не видели развороченного взрывом лица. Я почему-то думал, что у меня не станет лица после смерти, его, как яйцо, выест огонь. Веселенькие мыслишки, что тут сказать.

Тут, в этой роскошной комнате, стояла жаровня, и баба-земля уже стряпала на ней что-то такое, что можно было жадно съесть. Жрать мы хотели, это уж точно, ибо все, что взяли с собой в дорогу, подъели. Жаровня эта была, по сути, мангал для шашлыков, круглый, как рожа нашей бабы, и поверх лежала чугунная решетка, а под решеткой

мерцали и дымились угли. Я подошел к жаровне и заглянул внутрь. Угли пылали и шевелились. Баба-земля подмигнула мне. «Ось, яке смажыцца мьясце, – зачастила она мелко и дробно, словно плясала языком на жестких звенящих досках, – а для тохо, щоб нэ було зморшок на обличчи, потрибно жерти яйце, мьясце, маслице… сальце!» – «И еще витамин це», – мрачно буркнул я – и все смотрел, смотрел неотрывно, как она ловко переворачивает на чугунных полозьях куски странного, в прожилках, будто мраморного мяса. «А что это за мясце?» – «Так вид мериканських коривок. Коровьяча туша. Яловычына, хиба так! С Воронэжа нещодавно привезлы. Чоловики люблять таку йижу!» Я вдыхал запах жареного на углях мяса и думал: какая же шикарная война, просто фест какой-то. Я отошел от жаровни и спросил Зайца: «А она не шпионка, хохляцкая морда?» Заяц мне не ответил. Он тоже нюхал мясо.

Потом мы поели, и не заметили, как все мигом смолотили, на нас, как танк, наехала железная ночь, и глаза у нас слипались. Командир сказал: «Спите, все реально устали. Если нам повезет, проспим полную ночь. Но палить укры начинают рано утром. Четко по аэропорту работают. Сосните часок-другой». Мы повалились кто куда – кто успел занять диваны, кому достались настеленные на бетонный пол доски. Может быть, тут когда-то висели на громадных окнах шелковые гардины, мигали табло, дикторша шпарила на украинском и на английском языках о прилете и вылете самолетов.

Мы, каждый, были живые самолеты, и мы сюда прилетели, чтобы пойти на таран и погибнуть. Что греха таить, мы это понимали. Но мы не корчили из себя героев. И правильно делали. Просто у нас внутри дрожала такая жалкая гордость: пускай мы ничего стоящего не сделали на этой земле, пусть мы ошметки, голь, рванина, отребье, но у нас есть шанс – помереть как герои, и пусть сейчас героев нет, война дает нам этот шанс, возможность эту – не прославиться, нет: кто, на хрен, там будет знать и повторять наши имена! – а просто, помирая за правду, помереть людьми на земле, а не мусором на свалке. Правда! Мы думали, мы знаем, какая она.

Да, в этом аэропорту все было к едрене фене раздолбано. Разрушено много чего, а то, что уцелело, вроде нашей гостиной, так мы стали насмешливо и церемонно называть помещение, где пылала жаровня, где мы ели и спали, когда не было обстрелов, на это надо было молиться: если аэропорт весь сровняют с землей, нам остаются землянки, а декабрь надвигался холодный, мы уже это понимали. Аэропорт находился под контролем войск Донецкой республики, вот и мы тут примазались к славе, и я наклонялся вместе с Зайцем и Ширмой над картой Донецка, и Ширма тыкал острым карандашом в кружки, точки и стрелы: вот поселок Опытное, это если ехать на север, он за прудами, чуть подальше Авдеевка, на запад Пески, на восток, за взлетно-посадочной полосой, Путиловская развязка, это там, где перекрещивались селедкины рельсы железной дороги и подмерзлый ас-

фальт шоссе. Когда укры не стреляли, я бродил по руинам и все изучил. Я глядел на терминалы, глядел на широкую взлетную полосу, по ней когда-то бежали шасси белокрылых гордых самолетов, а теперь валяется битое стекло, отломы кирпичей, бетон, щебенка. Как долго человек все это строит, и как быстро разрушает. Ничего, думал я, вот выкурим отсюда злобных киевлян – а снова все возведем, Россия поможет! Россия всем всегда помогала, шептал я себе, и губу сводило на морозе, а России – кто помогал? ах, никто?! или все-таки помогали, а я об этом не знаю? А что ей, вроде того, помогать? Она и так сильна. Страна-хищница, империя-волчица, талдычат владыки с высоких трибун! Всех и всегда хотела себе подчинить! Хотела быть, жадюга, царицей мира! Но от тайги до британских морей Красная Армия, правильно, всех сильней! Красная Армия, а мы-то кто? Мы разве армия? Так, псы приблудные. Ха! Эти псы еще вас так больно, новые фашисты, за жопы покусают, штаны порвут, будете бежать и оглядываться! Я глядел вдаль, прищуривал глаза, вдали маячило что-то, похожее на церковь. Я попросил бинокль у Ширмы. Ну да, храм, луковица и крестик наверху, и рядом с ним приземистые дома, и целенькие и руины; и вот, да, хорошо в цейсовскую оптику видать, кресты и могилы. Кладбище. «А вот оно и кладбище, и вот тебе церковь, – весело думал я, – далеко ходить не надо, все под рукой». Я все отлично рассмотрел в бинокль. Гаражи, ангары, магазины, старая гостиница, пожарка, а еще гигантская

вышка, похожая на шахматную ладью. Ширма сказал мне, что это диспетчерская вышка. Она пугала меня своими размерами. Мне казалось, ее выстроили для инопланетян. Эх, какая превосходная цель была для украишек эта вышка! Я только потом это понял. По ней лупил их орудийный огонь почем зря.

Бинокль в моих руках обводил в воздухе большой полукруг, я щурил глаза, они слезились от холода. Я жадно смотрел, словно хотел на всю жизнь насмотреться. Сизые, как голубиные крылья, полосы жесткого снега жестко прочерчивали черные поля, пересекали серые дороги. Сизый снег, сизое грязное небо, сизый иней, по утрам покрывающий арматуру и расколотый бетон. Командир говорил о перемирии и сам смеялся над своими словами. И все мы смеялись. «Перемирия никакого не будет, – зло сказал Кувалда, – а если будет, я его первый нарушу». – «За нарушение воинской дисциплины – трибунал!» – лаконично бросил командир. Кувалда сверкнул глазами из-под бритого лба. «Командир! – крикнул Медведь, он среди нас, нижегородцев, один был москвич, а в Нижнем у него тетка жила, и он к ней наведывался. – Тут такое творится! Украм пропускают провизию, лекарства! Я сам видел конвой! И мы что, сидим молчим?!» Командир опустил голову. Задергал небритыми, в седой щетине, обвислыми щеками. «Мальчики, – сказал он устало, – я сам не понимаю, что происходит. Я знаю одно: драться надо. Но драться по-умному. Я не хочу вас всех здесь положить». –

«Все равно ляжем», – захохотал Заяц и высунул язык. Но никто не засмеялся.

Я готов рассказать о боях. А что, ведь я остался жив, и имею полное право. О войне пишут много и говорят много, да те, кто воевал, часто не умеют, да и не хотят говорить, они, когда о войне слышат, отворачиваются, и я вижу, им хочется плакать. И они плачут, и стараются, чтобы их слезы не видели. А те, кто не воевал, те брешут много и красно, просто соловьями заливаются. Но все равно им не веришь. Ты должен сам тут побывать. И сам все понюхать, и на зуб попробовать. Смерть, ее можно писать только с натуры. Это искусное гавканье, всех этих журналистов шустрых, всех политиков подлых, все это, знаете, мишура. Даже на новогоднюю елку ее не повесишь. Я бы все эти краснобайские побрехушки в нашей донецкой буржуйке сжег. Жег и смотрел бы, как горят. А потом от уголька прикурил. И получается такое плохое разделение труда. Те, кто может правду сказать, молчат. Потому что не умеют складывать слова. А те, у кого язык подвешен как балаболка, те лгут. Врут! И не краснеют. Поэтому я уж лучше пока про бои не буду. Я вам лучше про бабу эту расскажу. Про бабу-землю, так я ее про себя и называл. На самом деле она звалась Фрося.

Иногда мы не грелись около жаровни, а разжигали костер за расколотыми бетонными плитами, в укрытии, чтобы враг не видел. Моя земля, светясь из темноты круглым лицом, сама таскала в костровище палки, сучки, щепки. Огонь зани-

мался, мы рассаживались вокруг костра, наслаждались передышкой между одной и другой гремящей смертью, и баба-земля заводила на одной высокой ноте, будто голосила по покойнику: «Мисяць хрудень, мисяць хрудень! Вже хорять ялынкы всюды! Метушня в останний день – це ж до мене свято йде! Мисяць сичень на порози! Стукотыть у шибку хтось! То на двори, на морози! У кожуси Дид Мороз! Видчиняю двери, прошу! Рик старый – прощай навик! По билэсенький пороши вже новый крокуе рик!» Мы хлопали в ладоши, нам, честно, было все равно, что бабенка наша голосит. Ее жизнь среди ополченцев была такой же нужной и понятной, как бетонные плиты под нашими ногами. Я любил глядеть на ее необъятное, круглое лицо. Оно становилось все темнее, коричневее, совсем земляного цвета, а когда она входила в тепло с мороза, его схватывал бешеный яблочный румянец. Вообще бешеная баба она была. Могла, чуть что ей не по нраву, с ходу в торец заехать. Кулак у нее был такой же тяжелый, круглый и темный, как и толстая рожа. Она поднимала большие, граблями, руки над костром и пела: «Ой дивчыно, шумить хай, кохо любишь, – забувай, забувай! Ой дивчыно, сэрце мое, чы пидешь ты за мене, за мене? Не пиду я за тэбе, нэма хаты у тэбе, у тэбе!» Кувалда пихал меня кулаком в бок. «Ты, слышь, че пялися на девку, ну не понял разве, не пойдет она за тебя, нет у тебя хаты, нет и не будет!» Я ответно всаживал кулак под ребра Кувалде. «Ты, Кувалда, отзынь, дай послушать, хорошо же ведь поет». – «Не поет,

чувак, а спивает!» Баба-земля плевать хотела на нас и на наши речи. Она, закрыв глаза, выводила свое, и над костром билась песня, как птица со связанными лапками: «Пидем, сэрце, в чужую, покы свою збудую, збудую!» Костер добирался до ее круглых мощных колен, обтянутых болотными штанами. «А я ж по-росийскы теж можу. Ось! Слухайте, панове! – Ее волосы свисали из-под пилотки ниже могучих, как две тыквы, щек. – Налетэлы чорны вороны з заходу, налетэлы билы вороны зи сходу… Я вже сонце зустричаты не выйду, я вже в ричци не знаю броду! Я вже така бидна дывчына, сама-самэсенька, шмат-змилок, не прошу вже я у боха мылости-любови: абы лыше не було бильше на моий земли могылок, абы лыше не було бильше людськой крови…» Погон, прикуривая от пламени костра, подпалив себе брови и резко отпрянув, морщился. «Ну какая же это москальская мова? Фрося! Не смеши народ. Мы, ребята с Волги, все дружно подтвердим, что так в России не говорят. Тебе только кажется, что это русский язык!». Все дружно курили, звучал мрачный русский хор молчащих курильщиков. Моя земля медленно оборачивала круглую, крупную себя к мужчинам, окутанным сизым дымом, поднимала над огнем мощные руки и совала их в огонь, и отдергивала, и бросала сердито: «Ну, вже я вся замэрзла, як купына, тут з вами! Ще пивгодыны спиваимо, и треба спаты». Табачный дым вился над нами, обнимал нам лица в саже, смешивался с едучим дымом костра. Однажды у такого вот ночного огня Фрося прочитала

нам свои вирши. Мы все рты открыли, как это было здорово. «Донецький край, сторононька ридненька, щастя бажаю, земля-ненько!» Ненько, я думал, что это нянька, а оказалось – мамочка. Ма-моч-ка. Земля-мать. Мать. Мать. Мать. Ма-тьма-тьма-тьма-тьма. Я еще и еще раз повторял про себя это слово, пока оно не обессмыслилось на языке. Тогда мне стало легче. А то бы я пустил слезу.

Ну что вам рассказать про ежедневную смерть? Каждый день начиналась пальба. Обычно рано утром. Но укропы и ночной тьмой не брезговали. Ночью палили вслепую, и страдал город. Батареи АТО стояли в Песках и в Авдеевке, а мы отвечали ударом на удар. Вы думаете, только мы одни ютились в развалинах аэропорта? Были и еще отряды. Все прятались, кто где мог – по землянкам, по окопам, по подсобкам с дырявыми крышами, в исклеванном снарядами универмаге. Первый обстрел, что я пережил, был самый страшный. Дубасили отчаянно, жестоко и долго. Мы дождались паузы и долбанули. Воздух можно было резать на куски, такой плотный гул стоял, закладывал уши. Мы знали, командир сказал: укры скрываются в ямах, как крысы. «На то они и укры, укрываются, секи!» Ходили легенды, что они выкопали там целые подземные города. Но это, понятно, были всего лишь военные сказки. На поверхность из-под земли вылезали минометчики, снайперы и корректировщики, ну, кто направлял удары артиллерии. Каждый день кого-то убивали. Хоть одного, да убивали. Бывало два, три, че-

тыре трупа. «У вас двухсотые есть?!» – орали нам ополченцы, что прятались за бетонной оградой. «Нет! А у вас есть?!» Вымазанный сажей, с мордой негра, ополченец показывал три пальца. Настал день, когда вместо «нет!» наш командир крикнул: «Да!» И показал – два пальца. Вроде как на рок-концерте: виктория, победа.

До победы было палкой не добросить. Слишком быстро я понял, что эта война – из затяжных, из бесконечных. Из тех, что гаснут вшивой свечкой, опьяняются лживым перемирием, притворяются мертвыми и вспыхивают снова, да так, что горят небеса и земля. Баба-земля больше не читала вирши у костра. Она еле успевала таскать раненых в автобус, чтобы их увозили в госпиталь в Донецк, а когда автобус не мог пробраться к аэропорту под огнем, сама перевязывала истекающих кровью. Мы-то себя ополченцами не чувствовали: мы себя чувствовали почему-то солдатами. И будто за нами – армия. Это чувство было сильнее нас, сильнее меня. Но я ощущал, как в этих полях, среди этих терриконов шевелятся под землей кости тех, кто сражался здесь целую жизнь назад – наших дедов. Я про своих дедов ничего не знал, ни крошечки; может, мой дед, отец отца, тут где-то лежал, скошенный пулей немца, или отец матери, которой у меня не было, говорили мне в призрачных, лютых ночах, рея над моей голой головой в тонких, как кисея, снах, что земля Донбасса в боях с фашистом так была полита кровью, что из нее по весне прорастали не стебли, а штыки. Они тут лежат, солдаты, они

отдали жизни. Знали, за что. А мы знаем? Да, убеждал я себя, и мы тоже знаем. За то, чтобы здесь можно было свободно говорить по-русски и сделать свое свободное государство. Чертова свобода! Опять она. Мы хотели революции – а вот тут она случилась, и что получилось? Хохлы на Майдане хотели свободы, а получили огонь и кровь. Русские на Украине захотели свободы, и получили кровь и огонь. Свобода, как оказалось, слишком дорого стоила. А наши жизни – тьфу, дешевка. Судьба индейка, а жизнь копейка, приговаривал отец, сам, на старой табуретке, в тесной нашей кухне, старой, может быть, еще военной дратвой тачая сапоги. Чтобы самому починить, в мастерскую не отдавать и деньги не тратить. Убитый мной, гадом ползучим, мой отец.

Втайне я думал, когда обстрел утихал: пусть уж меня лучше убьет снаряд, чем вот так, жить всю жизнь и с этим в душе ходить: я убийца.

Бои? А что бои? Бои тут, в аэропорту, шли каждый день. Когда хочешь шли: ночью, утром, днем, вечером и опять ночью. Я перестал понимать, когда ночь переходит в день, и наоборот. Был день особенно удачный. Мы с утра подбили два хохлацких танка, а вечером два бэтээра. А ночью, уже за полночь, подбили две бээмпэшки. Экипажи, ясен перец, все погибли. На то она и война. Я, трус, от армии откосивший, здесь понял вкус войны. Это как вкус текилы. Страшно, горько, кисло, жжет, противно – и великолепно. И забирает так, что мало не покажется. Прошло время виршей у кост-

ра. Баба-земля круглилась испачканным сажей лицом, катилась к раненым, волокла на широченной спине убитых. Ну, не одна она волокла, мы все волокли. Но она одна вытащила из-под обстрела столько раненых, что ни один мужик такого груза не осилил бы. А только плечами толстыми молча поводила. Гимнастерка вся мокрая, темная, потом пахнет. Дышала хрипло, сопела, сопли утирала. А может, слезы. Бабе пристойно плакать. Мужикам – некрасиво. Отдышится – и опять под огонь. Толстая, а по земле, меж руин ловко ползла, ловчей змеи. После того, мы как подбили бээмпэшки, по нас ударили прямой наводкой, и хорошо, что все наши уже ютились вокруг жаровни в гостиной; а я дурак, вот это было плохо, маячил на воздухе, курил. Жахнуло, и я грохнулся на землю и понял: из ноги, чуть выше колена, течет горячее, но не больно, а смешно. Больно стало потом. И здорово больно. Я пополз на локтях – идти не мог. Одну ногу сгибал, а другую за собой волок, как сеть с тяжеленными, мертвыми рыбами. Из-за бетонных завалов выбежала моя круглая баба-земля. Фрося! Как я ее любил тогда! Ее лбище коровий, ее щеки и шею в три обхвата, ее руки, ими она могла бы задушить волка! Я полз и стонал, и она все поняла. Заученным жестом подхватила меня под локоть, мой стон быстро перешел в крик, но она меня все равно подняла и уложила себе на необъятную спину, как на толстый жесткий матрац. И потащила на себе. У меня было чувство, что я ехал на слоне. Кровь наливалась в берц, и ноге стано-

вилось влажно и горячо. «Хиба так, хиба так… – приговаривала моя земля тихо и ворчливо. – Так хиба так можна. Ни, николы… николы…» И тихонько так, еле слышно, я едва услышал, бормотнула: «Сыночок…»

Она втащила меня в гостиную и стащила с меня мои камуфляжные штаны, подарок командира. Гача отяжелела, вся напиталась кровью. Моя земля отжала ее, прямо на бетонный пол, огромными ручищами, и по полу стала растекаться красная лужа. Запахло соленым. Фрося вытащила из кармана бинт, разорвала упаковку зубами, стала обматывать рану. Заяц подвалил и заинтересованно глядел. Морщил улыбкой щеки в саже. Скрестил пальцы. «Ништяк, Фимка! Не рана, а намек на нее. Кровищи много, а неглубокая. Считай, бритвой порезался! Щас Фроська замотает… и к столу! Гречка готова! Хай будэ хрэчка!» Круглое мощное лицо летало передо мной. Взмах рук, виток бинта. Мне чудилось: я бессловесная, мертвая бээмпэшка, и стерильный снег крепко бинтует меня. Я не заметил, как уснул. А может, потерял сознание. Очухался от шлепков по щекам. Меня бил по щекам Ширма. Бил безжалостно. Когда я открыл глаза, Ширма с облегчением заржал и дал мне по лбу крепкого щелбана. «Живой, бляха! А мы тут думали, абзац». Пахло гречневой кашей. Моя мать-земля сегодня сготовила кашу на свином жире, и поэтому еще пахло прогорклой свининой.

Мы поняли: передых, пауза, шматок вольного ночного воздуха. Утром опять забабахают. Да могут хоть сейчас;

но почему-то мы уже безошибочно чувствовали, когда начнут палить, – видно, развивалось шестое военное чувство, что ли. Чувство смерти. Когда она опять рядом затанцует. Фрося подсела ко мне, лежащему на холодном бетоне, и сурово сказала: «Пидстэлылы б якусь одяг хто-небудь». Мне под зад грубо, с прибаутками, подтыкали брезентуху. Шило бурчал: «Промокнет! Кровищей зальет!» Моя земля села, раскорячив колени, рядом со мной на бетон, взяла в руки алюминиевую миску с гречкой, зачерпнула гречку ложкой и поднесла к моему рту. «Треба трохы поисты, чуешь чы ни?» Я разевал рот, и она всовывала туда ложку. Смешное, щекотное чувство. До слез. Меня первый раз в жизни кормили с ложки. Я кайфовал. Я чувствовал себя ребенком, а Фросю – мамкой, ненькой. Это было одновременно и стыдное, и сладкое чувство. Жаль, оно быстро прошло, мгновенно.

А назавтра мы подбили вражеский БТР. Там было то ли пятнадцать, то ли двадцать человек, не помню. Я из гостиной вышел на волю на самодельном костыле, стоял у стены аэропорта и слышал ужасающие крики. Люди выбегали из горящего бэтээра и валились наземь, я впервые в жизни видел, как горят люди живьем. Много чего тут, в Донецке, у меня случилось впервые. И здесь я впервые понял, что значит выражение «каждый день, как последний». Вот для этих, кто горел в бэтээре, кто вываливался на бетон и полз, пылающий факел, вопя и извиваясь, для них день пришел и вправду последний, а ужасно умереть в муках, я думал: как правдива

эта старая песня гражданской войны, ее пел мой отец: «Я желаю всей душой: если смерти – то мгновенной, если раны – небольшой». Рану я уже получил, красный орден. Дело было за смертью.

Горел БТР. Люди догорали, как дрова. Пахло сладко и жутко жареным мясом. Родимчик блевал за самодельным бетонным бруствером.

Ополченцев из Донецка, вторую бригаду, смерть находила быстрее, чем наших. Митю Коровашко из Ясиноватой убило миной. А у него, парни сказали, только что родился сын. Митя валялся на самой границе между нашей и украинской стороной, на бетонном разломе. Он прикрывал разлом собой, и выходило так, что он соединял собой, как мостом, две бетонных плиты. Живой мост, вернее, уже мертвый. Лешка Стовбун из их бригады хотел подкрасться, чтобы забрать тело – около его головы просвистела пуля. Он распластался на земле и пополз обратно. А пули взвизгивали вокруг него, то справа, то слева, и взрывали землю, и рикошетили от бетонных пластов. Когда Стовбун уже почти дополз до бруствера, пуля ужалила его. Она впилась ему меж ребер, в легкое. Он выкатил глаза, упал лицом вниз, еще подергался немного, лежа животом на мерзлой земле, и затих. И земля вокруг него становилась темной и соленой.

Над его раной, над спиной, поднимался легкий пар. Я глупо подумал: вот так из тела вылетает душа. Насовсем.

Другой парень из той бригады, Игорь Заславский, при-

волок на себе и Митю, и его телефон. Они лежали оба рядом – Коровашко и его сотовый, и сотовый мелко дрожал и играл веселую музыку, на экране высвечивалась крупная надпись: «МИТЕНЬКА МЫ СЕГОДНЯ КРЕСТИЛИ ЯСИКА БАТЮШКА ФЕОФАН ШЛЕТ ПОКЛОН». Все верно, человек родился, человек умер. Все на чашах весов. Я здесь, на войне, стал немного философом, в голову лезли мрачные умные мысли, а я над ними беззвучно смеялся. И над собой.

Честно, мы бы давно раздолбали укров, если б нам чуть больше оружия и живой силы, крутых бойцов. Мы медленно, но верно сжимали кольцо вокруг тех, кто отсиживался за бетонными завалами аэропорта. Месяц спустя мы эту же тактику, жесткую и беспроигрышную тактику котла, повторим в Дебальцеве. А там, в аэропорту, мы учились. Мы сами себя учили. Сами себя увещевали. Сами себя перевязывали, сами себе песни пели. Мы заняли монастырь, тот, на западе от аэропорта; заняли поселок Спартак, взяли пожарную часть. Сжималось кольцо, и командир матерился нещадно и радостно. Его звали Юрий Дереза, я узнал наконец.

Ночами на небо выкатывалась страшная зимняя луна, чаще всего она была мертвенно-синяя, по ее черепу ползали тени глазниц, пустая впадина на месте носа, серый оскал зубов; но иной раз, кем-то жарким и проклятым подсвеченная снизу, она горела пожарищным бревном, оранжевым сгустком, и на глазах увеличивалась в размерах. Она глядела на землю чудовищным застылым глазом, и она оттуда, свер-

ху, видела – железные каркасы наших сожженных ребер, раны вместо стен, битые стекла наших глаз, ногтей, взорванных костей. Луна наблюдала пыль, мы топтали ее ногами – нашими берцами, сапогами, ботинками на высокой военной шнуровке. Это была лунная пыль. Луна не понимала, что она уже высохла и рассыпалась в прах, а мы наблюдаем только ее призрак, лишь память о ней, вбитую в черный дегтярный зенит.

И то сказать: мы ведь были соседи, украинцы и мы. Они в одном терминале, мы в другом. Все просто. Рядом. Очень близко. А вот поди ж ты, кто кого поборет. А может так случиться, что – никто, никого и никогда? Я спросил об этом командира. Он, не глядя на меня, ответил, вроде как не мне, а ледяной луне: «Худший вариант». Я понял так: если это вариант, значит, это в принципе возможно. У нас мало противотанковых ружей, зато у нас хватает гранатометов. Иногда командир, когда сворачивался в клубок на полу, как кот, готовясь заснуть, тихо, неслышно пел, а все мы прислушивались к его пенью: «Артиллеристы, Сталин дал приказ… Артиллеристы, зовет отчизна нас!» Нам на подмогу прислали молодых казаков. Мы уже умели воевать, а они еще не умели. Они заглушали свой дикий страх дикими воплями. Их, почти всех, перебили, как цыплят, из танковых пушек. Мы разозлились. Кувалда кричал: «Я их всех своими руками передушу, вот этими, вот!» – и вытягивал перед собой руки, и устрашающе шевелил скрюченными пальцами. Я глядел

на его руки и думал нежно и печально: ах ты дурак, дурак, живое тело и бессмертное железо – разве их можно сравнить! Я сказал Кувалде об этом. Он зло сплюнул мне под ноги: «Железо-то управляется человеком, руками и ногами его. Учи матчасть, Фимоза!» И вот мы, чахлые человечки, погнали железных укров, непобедимых киборгов, из старого терминала, выкурили из гостиницы, вычистили из гаражей и ангаров. Это была наша первая победа, и не такая уж маленькая. Командир поднимал кулак и, страшно и радостно скалясь, кричал: «Но пасаран!» Ночью, выходя под свет дикой одинокой луны и ожидая, что она с небес завоет, увидя нас, израненных, голодных и грязных, белым голодным волком, мы глядели на скелет гигантской диспетчерской вышки. Вот она, наша цель. Наша цель – коммунизм, как писали на транспарантах во времена юности моего отца. Наша цель… Луна заходила за вышку, закатывалась за ее голодный стальной скелет, прятала за железом синий череп, пряталась стыдливо, смущенно закрывала каменным белым, с кистями тумана, платком круглую щеку. А потом опять появлялась. Выбегала. Круглорожая Солоха. Я ее ненавидел: она слишком ярко освещала все вокруг. В том числе и мои мысли. Опять об убитом отце. О мертвой матери. Если даже моя мать жива, она для меня все равно мертва. Все равно что мертва, ведь я ее никогда не увижу.

А тут круглой снежной луной взял да и хитро подкатился Новый год. И надо было его как-то отмечать, традицию

не задушишь, не убьешь. Праздник есть праздник. Мы захотели хоть на час стать опять детьми и ждать Деда Мороза, точно как в той хохлацкой колядке, что пела нам Фрося у костра. Елки нет? Так мы родим ее! Бойцы хохотали: «А мы Фроську елкой нарядим!» Моя веселая земля махала своими живыми огромными граблями и кричала в ответ: «Нехай!» На черном от копоти, круглом ее лице сверкала зимняя, ледяная улыбка. Она уже была не моя земля, а бешеная луна, что летела в черных небесах над нами. Небеса победы! Мы чуяли: недолго ждать. Я видел, как Фрося поползла из терминала вон, на воздух. Я неслышно, как кот, пошел за ней. Она не видела, что я за ней иду. Ветер ударил мне в лицо. Я смотрел, как моя земля хитро ползла вдоль бруствера, и проследил, куда. Там, где бетонные нагромождения обрывались, у россыпей битого стекла, валялась – ни за что не поверите! – настоящая елка! Ну, не настоящая, конечно. Искусственная. Кто-то, может, куда-то летел, и из небесного багажа вывалилась. А может, силовики везли своим на праздник в старый терминал, да мы их подбили. «Фрося! Не лезь туда! Убьют тебя!» Я быстро бросился вперед, как сердце мое чуяло. Она, дура, встала в полный рост и пошла к этой, мать ее за ногу, елке, она хотела живенько схватить ее и драпануть, но они хорошо следили за нами, глазастые укропы, и снайперы у них там сидели и в прицелы глядели, и гранаты имелись, да и просто из автомата спокойно можно было бабу покосить, как делать нечего. Как траву в зимнем поле.

Сухую траву.

Я швырнул себя вперед и сильно, грубо толкнул мою землю. Сбил с ног. Она упала и выстонала: «О, якохо биса…» Пуля ушла между нами. Между моим плечом и ее круглым животом. Я свалился на нее, горячую и огромную, закрыл ее своим телом, протянул руку и схватил эту чертову елку. Скатился с Фроси. Мы оба поползли обратно к брустверу, а пули пели над нашими головами. Когда мы вползли, как змеи, в нашу родную гостиную, с ладоней у моей земли текла кровь и пятнала бетон. Я судорожно схватил ее за руки и повернул их вверх ладонями. «Плюнуты и розтэрты, – сказала она, тяжело дыша и счастливо улыбаясь. – Це я напоролася на бите скло».

И обтерла со смехом ладони о пестрые штаны.

Как наряжали мы ту елочку! В детстве я так любовно никаких елок не наряжал. Да у меня их в детстве и не было. Отец вставал по будильнику в одно и то же время, всегда ел одну и ту же кашу, уходил на один и тот же завод, и в праздники мы ели все ту же, одну и ту же еду – щи с тушенкой, в них плавал сиротливый лавровый лист, овсяную кашу, иногда с навагой или с минтаем, и пили чай, часто без сахара. И никакой тебе елки; отец кивал на экран телевизора: «Вон елка, в телевизоре, тебе что, мало?» Я глядел на елку в школе, ее ставили посреди актового зала, на ней почти не было игрушек – только обмотки гирлянд и большие, как футбольные мячи, стеклянные шары. К ней запрещено было

подходить, директриса ругалась. Еще я видел елки в домах у друзей. Однажды пришел к Зайцу в январе, из кухни вышла тетка с блуждающим взглядом, с отвисшей губой, в заляпанном жиром фартуке, она качалась, как пьяная. Оглядев меня белыми хищными глазами, она опять удалилась в кухню. «Мать, – смущенно сказал Заяц, – она у меня немного не в себе, ты уж прости, она сейчас пытается приготовить утку в яблоках. Ну, новогоднее угощение. Хочешь, тебя угостим?» За спиной Зайца мотала колючими лапами елка, и, я видел, с ветвей серебряными соплями свисали самодельные игрушки. По бедности Заяц, небось, сам из бумаги навертел. А тут мы, можно сказать, из пасти смерти живую елку вытащили. Она – наша награда. Немного расслабиться. Так вот что такое война: это когда ты устанешь так, что жить не захочешь, а тут как тут и Новый год, и безумный Дед Мороз тебе на ухо пьяно шепчет: выкинь все из башки, отдохни, выпей, если есть что выпить, порадуйся хоть немного, вспомяни тех, кто убит, да и еще раз подними бокал за время, вот оно, новое, пришло!

Мы стали мастерить игрушки для нашей елки. В ход было пущено все: и стреляные гильзы, и осколки мин, и разрезанные бинты – мы вязали из них банты, и скотч, и обломки арматуры, Ширма ловко сворачивал фигурки из бумаги, а Родимчик вдруг полоснул ножом себе по пальцу и стал кровавым пальцем возюкать по этим бумажным квадратам, башням, треугольникам и спиралям! «Эй, ты что, спятил? За-

ражение же будет, у нас йод на вес золота, дурак!» – крикнул ему Погон. Погон вязал черные снежинки из запасных шнурков. Родимчик махнул рукой и крикнул через головы: «Зараза к заразе не пристает!» Моя земля только скосила весело глаза, махнула шершавыми граблями своими и выцедила лишь одно свое, вечное: «Нехай».

Она украшалась постепенно, наша елка, мы подходили и нацепляли на нее то одну жуткую игрушку, то другую, мы понимали, как это все смешно, но ничего поделать с собой не могли, нам так хотелось праздника, и мы делали его, мы сами лепили его, и он вырастал из серой мглы бетона на наших собственных глазах! Моя земля, кряхтя, вскрывала банки с тушенкой. У нас еще была гречка. У нас еще был круг сыра «Пошехонский» – его захватил из Нижнего командир, все берег-берег и доберег аж до новогодья, – плавление сырки «Дружба», консервы «Завтрак туриста» и дырявые пресные галеты. Фрося сильно нажимала на зуб консервного ножа, пробивая дыру в банке, и мясной сок брызгал ей в рот и в щеку. Она слизывала его и смеялась. У нее между передних зубов зияла щербинка. «Ну что, бойцы, геть отсель! – возопил Кувалда и отогнал нас от жаровни. – Ефросинья сейчас хавку новогоднюю нам будет мастрячить!» – «А укропов на праздник разве не пригласим?! – завопил Заяц. – Нечестно это будет с нашей стороны!» – «С нашей, с вашей, – ворчал командир, – пока ты составляешь текст приглашения, они тебя, недолго думая, минами угостят! С пы-

лу, с жару!» Но стояла удивительная тишина. Будто никакой войны и не было вовсе. Тридцать первое декабря, я закрывал глаза и воображал нашу пустую, всеми брошенную квартиру. Отец, я его убил и его закопали, или он выжил? Мачеха, язви ее, она жива или сдохла-таки от разрыва сердца, увидев перед собой мертвого кормильца? Она же и вышла за него из-за денег. Чтобы выжить. И я шерстил его, тряс и обирал, чтобы выжить. И мы, так получается, жили потому, что жил он. Он был елка, а мы были его жадные игрушки. И висели на нем. Пустое тридцать первое декабря всегда было у нас, пустынное, серое, мелькал телевизор, мелькал снег за окном. И щелкала под ребрами, за грудиной тоска, так щелкали раньше, во времена моего детства, магазинные, на кассе, счеты. Их костяшки, ведь это тоже елочные игрушки. И банку пустую из-под тушенки тоже можно сюда, на ветки! И фольгу от плавленых сырков! Ребята, сделайте из фольги – самолетики! А кто может журавля?!

Гречка упаривалась в кастрюле, свинина ей помогала. Фрося мешала половником новогоднее блюдо, больше похожее на кулеш, чем на кашу. Мы облизывались. Проголодались, и нам было все равно, Новый это год или не Новый, и вообще, при чем тут праздник, баба, жрать давай!

Кем-то наспех сделанный серебряный журавлик из фольги от плавленого сырка мотался на черной нитке на самой верхней, под верхушкой, ветке.

А на верхушке, вот чудо из чудес, сверкала звезда. Пяти-

конечная.

Командир улыбался. Может, он ее сюда из Нижнего привез.

Значит, он верил, что мы доживем до Нового года.

Мы все смотрели на часы. Все повключали телефоны. Мы запитали телефоны от автомобильного аккумулятора, пока все еще работало. Командир хмуро смотрел на старый циферблат на запястье. Время не шло, а бежало. Мы выжили в этом году, кто знает, как повезет в наступающем. Никто ничего не знает. Это нормально. Было бы хуже, если бы знали. Командир расчленил стопку прозрачных одноразовых стаканчиков и протянул игрушечный стакан каждому. Мы стояли кучно, сбившись плотно, протягивали руки с бумажными стаканами к горлу бутылки, и командир сам разливал водку. Бутылка водки была большая, литровая. Ложки, на всех, уже торчали в кастрюле с гречкой, сдобренной свиной тушенкой. На доске лежал изящно нарезанный сыр. «Фу-ты нуты, как в ресторане „Прага“, – подбирая слюни, сказал Заяц, – даже плакать хочется». – «Ну ты, на слезу не бей! – весело крикнул Кувалда. – Еще одно жалкое слово – и вылетишь на снег, луну кормить, собаку!» Я представил, как голодная луна жадно грызет тощее, незавидное тельце Зайца. Мы разом сдвинули стаканы, и Родимчик крикнул: «Бом-бом!» – «Не бом-бом, а дзынь-дзынь!» – поправил его Ширма. «Не дзынь-дзынь, а бац-бац!» – подал голос Погон. «Бац-бац, и мимо», – грустно подытожил Шило. Мы опрокинули

веселую водку в рот, скривились от горечи, крякнули, утерли рты, засмеялись. Крики смешались, их уже было не отодрать друг от друга. С Новым годом! С новым, елки, счастьем! Да счастье то, что живы, братцы! Победим фашистов, ну не вопрос! А закусь, где закусь?! Фросечка! Кастрюлю тащи! О, вкуснота неописуемая! Ребята, русская весна плавно перешла в русскую зиму! Разливай по новой! По новой так по новой! Сейчас все новое, Новый год же! Тебе побольше? А ряха не треснет?! Мне как всем! А у меня глаз алмаз, давай я плесну! Ну, накатим, братцы! Накатим! С новым, бойцы! С новым, командир! Пусть мы отсюда вернемся, бойцы! Не вопрос, командир! Все вернемся! Не зарекайся! Да я не зарекаюсь, я просто желаю! О, классная кашка! Фрося, тебя нам бог послал! Не бог, а конкретно народное ополчение Донбасса и Павел Губарев! Ребята, разливай, водка стынет! Точно, стынет! Новый год к нам идет! Блин, уже пришел! А куранты, где куранты?! На Спасской башне, чувак! Он красит красной краской звезду на башне Спасской! А мы что своей красной краской покрасим? Какой краской? Ну, кровью своей! Памятник себе? Скромный памятник в селе, жил солдатик на земле! Не ерничай! Праздник же! Ребята, давайте за праздник! Точно! Тише, братва! Фрося говорить будет! Давай, Фрося, бабенка наша!

И я смотрел, как с прозрачным целлофановым стаканом в руке встает из-за кастрюли с кашей моя земля. Моя круглая, мощная, сильная, уродливая, классная, вечная, грязная,

великая земля. Моя красивая земля. Ненько. Какая разница, хохлацкая или кацапская. Это моя земля. Моя! И вот она разлепляет земляной рот. И вот она начинает говорить. Что она нам скажет? А какая разница? Словом можно вылечить, а можно и убить. Слово запросто может стать пулей, снарядом, миной, бомбой. Выстрелит – и все займется огнем. Заполыхает все вокруг, и будет гореть, не потушишь, водой не зальешь. Моя земля из глубин безумного, на краю смерти, чертова праздника катилась на меня. Сейчас ее круглое лицо врежется в мое. Но я не отстранился. Она сильной, жилистой, в буграх мышц, как у мужика, горячей рукой обняла меня за шею, почему-то меня, притиснула мою голову к своей шее и пророкотала, и я слышал, слушал ее голос, эту пылающую, льющуюся магму, эту золотую яркую лаву, она стекала по мне, по моей гимнастерке, по моей груди, по раненой ноге, по берцам, и я обжигался, и плевать на ожоги, ведь меня обняла и прижала к себе моя земля.

«Любые! Мылисинькые! Бийцы! Так, я ж сэрцем з вамы. Нам потрибно захыстыты нашу батькивщыну вид ворогив. Фашизьм у нас не пройде! Так усе и знайте! Мы ще наши писни заспиваем! А усих вас, сыночкы, з новым роком! Воно ж саме те, свято цей! Хлопцы! Та вы уси мои диты!» Я слушал ее, будто стоял на краю вулкана, а внизу клокотала и бурлила лава. Мне было странно и чуть смешно – вот украинка, казалось бы, должна драться за свою вильну Украину, а не за русских на Донбассе. И вопить, как они все там, за-

падники, вопят: «Слава Украини!» Я убедился: вопить, для отвода чужих глаз, можно все что угодно. Главное, что ты чувствуешь внутри. А внутри у тебя правда. Вот в моей круглолицей, могучей земле была правда. Она была земля, она была от земли. Неужели один выстрел, и она станет землей под ногами, грязью? Черными влажными комками?

Мы выпили, и Фрося крикнула пронзительно, как подстреленная: «З новым роком!» Мы еще выпили, и стало совсем уж хорошо. Но уши, они сами навострялись и все равно ждали атаки.

А вскоре рухнула диспетчерская вышка. Башня свалилась аккурат в старый Новый год, в наш безумный русский праздник, только мы одни его и празднуем во всем мире. Мы в тот день совсем не хотели его праздновать. Я видел, как башня падала. Зрелище, я вам скажу, не из приятных. Но впечатляет. Не хотел бы я оказаться рядом с этой бандурой, когда она валилась набок. В воздухе раздался громкий треск, потом шорох, потом странный, еле слышный и густой гул, потом все звуки медленно утихали, застывали на морозе. Небо то синело, то серело. Башня рухнула потому, что по ней лупили, по приманчивой цели. Как дурашливо пел наш Шило: «Ту-ту-ту-ту паровоз, ру-ру-ру-ру самолет! Больше пластики, культуры, производство наша цель!» Кувалда поцокал языком: «За руинами можно классно укрыться. Прятаться и палить. Это же целый редут, обломки эти». – «Это наши танки, молодчики, молодцы!» – крикнул Заяц. У него лицо

было совсем черное, как у негра, и бешено светились на нем одни глаза. «Азохен вей, и танки наши быстры!» – фальшиво спел Родимчик. Я обвел всех глазами. Все были еще живы. И я был еще жив.

А дальше получилось нехорошо. Хотя война есть война, ты просто дерешься, и это твое личное дело, хорошо бьешься или плохо. Я попал в плен. Лучше об этом не вспоминать. Но вы не слабонервные тут, и я тоже не суслик. Хотя я гадко себя там вел, в плену. Точно, лучше бы забыть. Но сейчас я хочу выговориться, и расскажу все. Я много времени этими ужасами не займу. Понимаю, между прочим, тех, кто войны всякие прошел – Афган там, Чечню, Отечественную, разные другие стычки: они не любят вспоминать об этом, да просто даже не могут, я одного ветерана знал, так он начинал рассказывать, а потом плевал на пол, глаза рукой закрывал, весь трясся и уходил. Ну не мог человек. Смогу ли я? Попробуем. Я стрелял из автомата и расстрелял весь рожок. В грохоте этом не услышал, как ко мне сзади подползли. Их было двое, они навалились и скрутили меня, потом один связал мне руки за спиной, другой подхватил мой автомат. Матерясь без перерыва, они погнали меня пинками туда, к себе. На их сторону, в их укрытие. Воздух был с утра морозный, а теперь нагрелся, или мне так казалось. Было трудно дышать. Еще и потому, что мне под ребра хорошо засадили. Я бежал, спотыкаясь. Мы нырнули за бетонные завалы. На меня орали. Я не помню лиц этих людей, потому что меня начали прямо

с ходу бить. Они сбили меня пинком на бетонную плиту. Били берцами под ребра, в живот, по печени. Я понял, что мне сломали ребро. Потом меня перевернули на живот и задрали мне гимнастерку и теплый тельник на затылок. Я ничего не видел, но понял – сейчас будут страшное творить. И пошла пытка. Можно, я про это не буду? Или лучше сказать, легче мне станет? Знайте: пытки на войне обычное дело, потому что врага ненавидят. Враг он и есть враг. Они враги для нас, мы враги для них. Все так просто. Проще не придумать. А все эти байки о жалости, о человечности со стороны врага – просто красивые байки. Без них человек не может, он себя ими утешает. Я ничего не видел, задыхался в наверченном на башку тельнике, и понял, что кто-то взял нож и лезвием мне на спине узоры вырезает. Я завопил, мне моим же тельником, скомкав его край, заткнули рот. Кто-то сел мне на ноги, потому что я дрыгался неимоверно. Дрыгался и стонал, и мотал головой. Меня лбом стукнули о бетон, и все поплыло. Я очнулся оттого, что от рук, от пальцев в голову стреляла адская боль. Это мне загоняли под ногти, я думал, иголки, а потом мне сказали – гвозди. Самые тонкие, наверное, обойные. Орать я не мог, во рту уже торчал другой кляп, резиновая груша. Я был голый до пояса, разорванные гимнастерка и тельник валялись рядом. Я мог их видеть, моих палачей. Смерть ходила мимо меня, грубо пинала меня, потом садилась передо мной на корточки и скалилась. Я четко приготовился сдохнуть. Только жаль, думал я, что

это так безобразно и позорно. Я бы хотел умереть на войне героем, а вон как оно получается. Я пытался отдернуть руки. Каждую мою руку держал угрюмый укроп. Они держали меня и молчали. А тот, кто всаживал мне гвозди под ногти, напевал песенку. Пел-пел, потом насвистывал. Он имел вид мастера тату, ловящего кайф от своего мастерства. Я потерял от боли сознание, когда открыл глаза, увидел над собой лицо. Лицо напоминало человеческое. Да они все тут были вроде бы люди. Только защищали свою правду. Она отличалась от нашей. У человека щеки и лоб были вымазаны сажей. Наверное, у меня тоже, потому что первое, что он сделал, это грубо обтер мне лицо грязной тряпкой. Наверное, ею, промасленной, вытирали пулемет. Я вдохнул машинное масло и закашлялся. У меня было подозрение, что меня душили шнурком, так болела шея, и трудно было глотать и говорить. И я не мог лежать на спине. Я лежал в своей крови, раны царапал бетон, я боялся, что я опять отключусь, и вдруг навсегда. «Ты, – сипло, простуженно шепнул мне человек, – отудобел? Просто надо было спустить пары. Очень ты нам нужен. Секретов тут никаких нет. Мы знаем, где вы сидите, вы – где мы. Все просто. Просто у вас, чуваки, чуть больше оружия». – «Не оружия, – прохрипел я, – просто мы защищаем нашу свободу». – «Какую, на хрен, свободу такую? – просипел человек с черной рожей. – Где ты ее видел? Вот мы родину защищаем. А ты? Какая она такая, твоя родина? Ты предал ее, дрянь». Я молчал. Пытался проглотить слюну,

тщетно. Клей слюны никак не скатывался в картонное горло. Человек с рожей в саже отвинтил пробку от фляги и поднес к моему рту: «Пей».

Потом он мне сообщил, что это именно он вырезал мне на спине красную звезду. Когда я глотнул из фляги, это была ужасная тухлая вода, хорошо, хоть холодная, думаю, это они снег собирали и напихивали во фляги, и он в тепле, у тела, таял и превращался в грязную воду, – вымазанный наклонился ко мне, взял меня пальцами за щеки, повернул мою голову туда-сюда и жестко спросил: «Ты, мудак, хочешь услышать правду?» Я испугался новых пыток и кивнул. Я решил во всем с ними соглашаться. Вымазанный сел рядом со мной, ту же самую масляную тряпку поднес к лицу и вытерся крепко и зло. Нюхнул тряпку и швырнул за спину. «Итак. Начнем ликбез. Ты дончанин? с Донбасса?» Я отрицательно помотал головой. «А, – обрадовался он, – так вообще москаль? Это меняет дело. Значит, мозги у тебя полностью зазомбированные. Так слушай тогда! Слушай, сучонок, и не перебивай! А если я тебя что-то спрошу, то кивни! Кивни! Не смей перечить, потому что ты глуп и туп, как пробка, и сейчас у тебя будет масса открытий, вот ей-богу!» Он набрал в грудь воздуху. Я, чтобы не забыть, прямо быстро так буду говорить, чтобы перечислить все, что из него вылетало и жгло меня, и ужасало.

Свет Майдана, радость свободы, гордость нации, мы гордые, мы украинцы, мы ни за что не отдадим нашу независи-

мость вам, вы привыкли подавлять, захватывать и убивать, вы все время расширяли вашу империю, этот ваш красный медведь всех вокруг завалил и пожрал, и нас пожрал, мы солидарны, мы едины, мы хором читаем «Отче наш», истинная соборность вместо вашей лживой мерзкой церкви, наша великая мова вместо вашего хилого, кривого, увечного, хренового языка, на нем вы привыкли только орать команды, вы страна тюрем и лагерей, мы все это сейчас разрушим, мы снесем все памятники вашим диким зверям – Ленину и Сталину, ваши доблестные советские воины тоже звери, как они наших давили, стреляли, жгли и мучили, мы вам этого никогда не забудем, не простим, Бандера герой, Шухевич герой, слава Украине, героям слава, вы оккупанты, не забудем вам Крым, мы все равно вернем Крым и будем в Крыму, мы будем купаться в его море и жрать его виноград, даже если придется для этого развязать третью мировую войну, это не мы ее развяжем, а вы, вы же спите и видите взорвать ядерный гриб над Европой, над Америкой, надо всей землей, вы же безумцы, ваши подлодки, как шавки, ждут сигнала, ваши ракеты нацелены на нас, да мы вас не боимся, мы все поляжем за нашу мать Украину, за нашу ридну неньку, а вы все сгниете за колючей проволокой, мы вас всех посадим в лагеря, вот для вас мы их опять построим, на кирпич и бревна не поскупимся, душители свободы, лживые собаки, брехуны с высоких трибун, вы только брехали вашему народу и другим народам о счастье, только тявкали, шавки, о любви и милости,

о помощи и братстве, а сами загнали всех в цепи и защелкнули на всех наручники, у вас же за всеми людьми тотальная слежка, вы все живете под колпаком наблюдения, двадцать четыре часа в сутки, и мы бросим вас за решетку, будете видеть небеса в клеточку, и будем вешать вас и расстреливать, и пытать, и жечь, да, правы были немцы, жечь, только жечь, как дрова, как черный уголь, и весь Донбасс мы после нашей победы превратим в один громадный крематорий, а потом выкопаем одну громадную шахту, и всех вас, москалей, все ваши сто пятьдесят долбаных миллионов туда сбросим! Мы никогда не отдадим Украину москалям поганым! Надо будет, мы весь Донбасс сровняем с землей, и Крым сровняем с землей, и будем плясать на ваших горелых костях! Горелых костях, да, это последнее, что я запомнил из всей это речи, больше похожей на собачий лай. Чердак у меня опять поехал, все закрутилось, как старая виниловая пластинка под иглой, отец такие слушал, вот и я услышал дикую многоголосую музыку и разум потерял, надолго ли, не знаю.

Очнулся – опять этот сажей вымазанный перед мной: «Что, глазками захлопал, москаль?» Я молчал. Не мог говорить. Под ногтями у меня запеклась кровь. Спина болела адски. Но меня больше не пытали. И еще не шлепнули, а ведь могли шлепнуть уже сто раз. Значит, шансы у меня были. Вымазанный больше не сыпал словами, как семечками. Он разжигал костер прямо на бетоне, черный дым вился вверх, немудрено, что все тут покрывалось сажей – и лица людей,

и каменные плиты. Теперь он со мной вел другую политику. Он наводил странные мосты. Он заводил со мной странную дружбу, я понимал так: может, он меня вербует. Я стриг ушами. Слушал внимательно. Нельзя сказать, что я не поддавался его гипнозу. Теперь он говорил спокойно, курил, иногда вынимал сигарету из пачки, всовывал мне в рот и подносил зажигалку. Я курил, катая сигарету из угла в угол рта – руки у меня были связаны. Отлить и оправиться выводил меня на волю снова он, тогда он развязывал мне руки, и, пока я делал свои делишки прямо на его глазах, он похохатывал и держал меня под прицелом. Потом опять мне руки связывал и смеялся: «Да, неудобно веревкой, наручников у нас нет, жаль».

Кормил меня опять он. Сначала хлеб мне в рот пихал, и я жевал, как скот. Потом разматывал веревку, я разминал затекшие запястья и догребал черствой коркой жир и сок со дна консервной банки. Мне было все равно, что было в банке – рыба, курица, свинина: все уже сожрали, мне дали вылизать жестянку, как собаке. Я не удержался и спросил Вымазанного: чего ж вы меня не застрелите? Так прямо, по-русски, и спросил. И он тоже хорошо, отлично говорил по-русски, хотя я слышал, со своими он болтал по-украински. Я лежал на боку, на спину лечь было невозможно. Он присел перед мной на корточки и очень тихо, очень доверительно, будто глупому ребенку что-то важное объяснял, проговорил, почти по слогам, так медленно и внятно: «Нам нужны бой-

цы. Но не просто бойцы. Наших убивают, убиваете вы. И для нас особый смак, – он так и сказал: „особый смак“, – в том, что место убитого бойца заступит поганый москаль. И будет воевать на нашей стороне. За нас. Перековка, так это у вас раньше называлось, при Сталине? Пе-ре-ков-ка», – еще раз повторил он, чеканя каждый слог. «Понятно, вы меня вербуете, так, кажется, это у вас называется? Вер-бов-ка», – передразнил я его. Он ударил меня по губам, и я плюнул кровью. Однако, спокойно глядя на меня, спокойно вытерев кулак о штанину, он спокойно сказал: «Да, вербовка. Обычное дело на войне. Если не удастся тебя перековать за пару дней, и ты откажешься стрелять в своих, ну, тогда кирдык тебе».

Он наутро, после того, как вывел меня оправиться, опять сел рядом и стал мне вкручивать мозги, и все приказывал, чтобы я ему согласно кивал, а если я против чего-то там, то он мне сейчас опять по зубам врежет. Я кивал и кивал, как китайский бонза. Мотал головой, сам себе казался маятником. Мне, изрезанному ножом, истыканному гвоздями, правда России уже стала отсюда, издали, из укрытия укропов, казаться вовсе даже не правдой, а просто – неправдой. Ну, красивым враньем. Да, у нас в башках была одна правда, когда мы уезжали из Нижнего. Мы читали письмо нашего Вождя из Москвы, бумажное, рукописное, в конвертике на адрес Тройной Ухи пришедшее: «РУССКАЯ ВЕСНА ВЕЧНА! РОССИЯ, ВПЕРЕД! ВПЕРЕД, НИЖНИЙ НОВГОРОД! ПОМОЖЕМ ГЕРОИЧЕСКОМУ ДОНБАССУ ОСВО-

БОДИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ ПОГАНЫХ БАНДЕРОВЦЕВ И ЗЛОБНЫХ ФАШИСТОВ! НЕ ПОДВЕДИТЕ, РЕБЯТА!» И дальше написал весь список, кто должен был уехать в том автобусе, всех поименно. Я читал его и с изумлением видел, что Зайца зовут Александр Беляков, а Ширму, к примеру, Анатолий Крученых. Правда, я не уверен, Ширма ли это. Кажется, у нас Анатолий был вроде бы Шило. Но не все ли равно. Вымазанный сегодня наконец умылся, и, возможно, с мылом, я глядел на его чистенькое, как у поросенка, лицо с маленькими, без ресниц, часто мигающими глазками. Ну порося и порося. Только что не визжит и не хрюкает. Передо мной в воздухе будто бы висело перевернутое зеркало, и я сам там отражался, в нем – кверху ногами, с налитым кровью лицом, беспомощный, размазанный по бетону, как гречневая каша-размазня по дну миски. Я вспомнил Фросю. Мне сдавило горло. В перевернутом зеркале я наблюдал и Вымазанного, теперь чистенького поросеночка, и он хорошо, крепко стоял не на голове, а на ногах. А если зеркало взять и повернуть? Тогда что будет? Я встану на ноги, а поросенок перевернется и задрыгает, засучит ножонками в дымном воздухе?

«Видишь обломки башни? – вдруг сказал я ему. Сам не знаю, почему я так сказал тогда. Видимо, смерти уже не боялся. – Это мы ее свалили. Специально. Мы там укроемся и будем вас дубасить. Вам уже, дряни, недолго осталось. Аэропорт возьмем мы. А не вы». Поросенок перекосился.

И правда, хрюкнул, и я услышал его визг. «Эй! Шапко! Волоки сюда свои шприцы! Вруби ему! И врубай каждый день! Пока его ломать не будет как следует!»

На меня навалилось, как бревно, чужое тело, оно пахло грязью и водкой. Украинец туго перемотал мне руку выше локтя резинкой, в оскаленных зубах он держал инсулиновый тонкий шприц. Я все понял, да слишком поздно.

Они кололи мне наркоту каждый день. Беседы Вымазанного, нынче Чистенького Поросенка со мной продолжались. Он и не собирался, выходит так, их обрывать на полуслове. Под кайфом я послушно повторял все, что он мне впаривал. Просто эхом. Он слово, и я слово. Как молитву. Вроде как он батюшка, а я при нем дьякон. Когда сладкий туман рассеивался, и наваливалась дикая мука, и я задыхался и просил: «Укол! Укол! Хоть чуть-чуть! Капельку!» – и я с ужасом осознавал, как сильно я вляпался, и как сейчас за дозу, да, просто за вшивую дозу я пойду стрелять, мне всунут в руки автомат и прикажут: убей! – и я пойду и убью командира, Ширму, Кувалду, Зайца, кого хочешь убью, а потом ввалюсь в ихний штаб, рухну к ногам Поросенка и прохриплю: «Дозу», – и мне медбрат Шапко вколет ее, родимую, и я закрою глаза от счастья.

«Я не герой, – говорил я себе, когда опускалась ночь и где-то там, далеко, над руинами аэропорта, висел дикий серебряный череп луны. – Я просто человек. И я уже наркоман. Нет мне выхода, нет спасенья. Все кончено. Я и был-то кон-

ченый, а сейчас я кто? Ну уж точно не герой. Я буду стрелять. Я должен стрелять. Я хочу стрелять, потому что я хочу жить. Жить! Жить!» Я поворачивал голову и хрипел: «Шапко! Дозу! Дозу!» Он подходил и делал мне укол. В вену мне он попадал уже безо всякого жгута над локтем. Прямо так, сразу, ловко. Просто чуть натягивал кожу, и вена сама выпирала, синяя, в узлах и синяках, перевитая, как толстая веревка. Шапко знающе сказал: «Это сейчас она у тебя такая, после спадется, и трудно будет иглой попасть». Правда России окончательно стала ложью, и я сказал однажды, подняв заплывшее от слез лицо к Поросенку: «Ты, поросенок. Давай АКМ». У него лицо расплылось в улыбке. Глазки превратились в щелочки. Я услышал его голос, он развевался над моей головой, сине-желтый. «Вот так-то лучше. Иди, герой, бей врага!»

Он мне сто раз говорил: «Враги – это и сепаратисты, и москали, и наша власть, и ваша власть, и мы сейчас, знай это, воюем против всех, да, мы, мы одни! Все против нас. И вы, собаки, на востоке – против нас. И мы не просто тут вас бьем. Мы готовимся к войне с Россией. Мы должны доверять лишь самим себе. Мы должны рассчитывать только на самих себя! А война с Россией будет, будет! Куда мы от нее денемся, куда вы от нее денетесь! Вы же сами ее хотите, собаки, сами!» И только тогда я понял все его поросячьи крики, когда мне в руки втиснули автомат и пихнули в спину: ступай, воюй!

Я оказался на самом верху сваленных бетонных глыб. Автомат ходуном ходил у меня в руках. Я подумал, что разучился стрелять. Хотя стрелять только здесь, на войне, научился. Я видел отсюда укрепление ополченцев. Я уже думал о нас так: они, ополченцы. Мы! Они! Все перепуталось. Отуманенная голова сама приказала рукам поднять оружие. Я увидел две фигурки, они карабкались по камням. Автоматная очередь прозвучала на морозе глухим стрекотом. Одна фигурка упала. Поросенок торжествующе закричал: «Попал! Ай да москаль, ай да сукин сын!» Я стрелял еще и еще, но люди на бруствере больше не появлялись. Потом Поросенок сказал: «Бери связку гранат, ползи туда и бросай. Забросай их гранатами, собак!» Я все сделал, что он хотел. Я сначала пополз, потом устал ползти и встал во весь рост. Зазвучали выстрелы. Я все равно шел. Я сам себе казался смертью, и шел, и торжествовал. И я понимал: смерть тоже смертна, смерть тоже умрет, когда-нибудь, вот сейчас.

Гранаты внезапно превратились в ничто, в воздух. Я сам не понимал, куда они исчезли. Из морозного марева показались чьи-то руки, ноги, голова. Я не успел сорвать чеку ни с одной гранаты, я ничего никуда не бросил. Зато мне под ноги бросилось что-то живое. Я упал. Это живое ползло, поползло на меня, мне почудилось, это огромная змея. Нет. На меня наползала земля. Я понял, что я умер, смерть умерла, и меня заваливало землей, моей землей. Моя земля наползла на меня, укрыла меня собой, придвинула большие

свои, земляные губы к моему еще живому рту и пробормотала зло и путано, как пьяная: «Ах ты сучонок паршывый. А ще тэбе ходувала супом з ложкы. Так я ж тэбе вбью, сучонка! Зрадник!» Внезапно слои земли стали спадать с меня, скидываться прочь, вбок и вдаль, и я, освобожденный, увидел, как моя земля, родимая, грозная, взмывает надо мною – черный земляной флаг, в пятнах камуфляжа, с автоматом наперевес. «Так я ж тэбе, хада, зараз застрелю!»

Моя земля, она меня узнала. И я узнал ее.

«Фрося! Не надо!» – крикнул я, но я опоздал. Она выстрелила.

И вместе с грохотом ее выстрела грохнуло везде – сверху, спереди и сзади. И стало грохотать уже без перерыва. Снаряды и мины летели, как с ума сошли, артиллерия как с цепи сорвалась. Вражеская ли, наша? Твоя, моя, ничья? Орудия лупили как безумные. Нет, это люди обезумели, я это давно понял, все мы крейзи, железо ведь продолжение людей, пушки и зенитки это руки и ноги людей, что других людей ненавидят. Уничтожить другого! Да ведь так было и будет всегда. Что тут удивительного? Я оглох, и, когда перестал слышать, подумал: как прекрасна тишина, и, если теперь она будет всегда, я поверю в бога, ведь у бога, черт возьми, так блаженно тихо. И в смерти тихо, понял я, и в смерти ничего ведь страшного и жуткого нет. Просто тишина. И все.

И опять я выплыл из тьмы и тишины. Очухался, голый. Моя земля переоблачала меня. Она сдернула с меня все рва-

ное, грязное и попачканное кровью, и, матерясь, я читал ее матюги по ее зло шевелящимся губам, натягивала мне на ноги портки, на плечи теплый колючий свитер, на ступни – шерстяные носки. Я лежал одетый и ничего не слыхал. Показал Фросе на свои уши. Она разевала рот, широко и уродливо, орала, показывая зубы, как зверь, у нее недоставало клыка, может, ей кто-то выбил в рукопашном бою, а может, в недавней свойской драчке. Она, могучая, хорошо дралась. Это я знал, однажды она будь здоров отделала Шило, когда он на досуге хотел сунуться к ней под бочок. «Где я?» – спросил я мою землю и не услышал своего голоса. «Хоть на пальцах покажи!» Я просил и не слышал просьбы. Я не видел никого из наших рядом. Там, где я валялся, я был один. И только моя земля со мной.

Она наплывала на меня, катилась, выхаживала меня, беспрерывно матерясь. Я огляделся: я лежал в пустом гараже, в странном ржавом корыте, это был перевернутый кузов бывшей легковушки. На дно железного корыта были настелены старые тряпки, ветошь и вата. Может, моя земля ограбила ближнюю больничку? Или раскурочила разбомбленный медпункт аэропорта? Пустой гараж в бреду казался мне пустой избой. Контузия держалась долго, но мало-помалу я начинал слышать. Первое, что я услышал, – как Фрося матерится. «Мать твою за ноху, в боха-душу, в пызду спозаранку, отпыздыть тэбе и расхуярыть, тэбе эбать йийи в эбало твое аж до самой хлоткы, хуыло, сучонок смердючый, пес паршы-

вый!» Я слушал эту матерщину просто как сладчайшую музыку. Слезы радости вытекали из моих глаз, стекали по вискам, их впитывала старая серая вата. Нет, это была не больничная вата; такую вату скорняки вшивают под пышные, пушистые подолы шуб. Моя земля, видать, ограбила скорняжную мастерскую.

Слух ко мне возвращался. Мороз на улице крепчал. Фрося укрывала меня старыми тулупами, они пахли овечьим жиром, а потом забралась ко мне под тулуп и тесно прижалась ко мне, прижалась всем телом. Она прислонила толстые губы к моему уху и опять внятно, длинно и грубо выматерилась, потом тихо сказала: «Ты, дурныку поганый, хрей мэне, та хрийся сам. Так, удвох, зихриемося. Наши думають, що мэне пидбылы. Алэ я тэбе выликую, и разом повернэмося. Сам прощення, сучонок, будэш просыты». Она вжималась в меня все сильнее. Я не знал, что мне делать. Изрезанная спина дико болела. Фрося, переодевая меня, видела эту рану, эту огромную, во всю спину, звезду. И вот сейчас она безжалостно лапала своими горячими жадными ручищами мою израненную спину. Я скрежетал зубами, ну не ойкать же, как девчонка. Он у меня встал, а куда деваться, но я почему-то не хотел раскутывать Фросю и делать свою мужскую работу. Это не я хотел, это он, внизу, в слепой темноте и в тепле, хотел. А я хотел прижать ее еще теснее, наплевать на боль от порезов, наплевать на эту гребаную спину, все зарастет, все застынет морозными шрамами, все на ли-

ке земли, на земляной, круглой Фросиной мордахе, заживет, затянется. Забудется. Да, вот так, прижать крепче, уткнуться своей собачьей мордой ей куда-то между шеей, скулой и подбородком, и носом уткнуться, и впрямь как собаке, и шмыгать, и в жаркую липкую бабью кожу дышать с трудом, сопеть, пыхтеть, и губами, зубами вминаться в теплое, мягкое, и плакать, просто плакать, и все. Я так и сделал.

Собаки тоже плачут.

Спину она мне, опять нещадно матерясь, смазывала йодом. Йод, видно, от наших приносила. А я лежал и думал: вот за что мы сражаемся? За что они сражаются? Зараза сомнения вползла в меня. Я думал вроде как с одной стороны, с нашей, а потом начинал думать с той, другой стороны. Оттуда, где меня накачивали черт знает чем, и вот она наступила, ломка.

У меня наступила правильная такая ломка, я не раз видел, как трясет нариков, у нас во дворе, прямо под нашими окнами, они кололись, у них тряслись руки, они еле попадали себе в вены, потом счастливо закрывали глаза, закрывали и садились прямо на землю, затылками упирались в кирпичную стену, и так сидели и балдели, очухивались, им неважно было, весна или зима – садились в то, что хлюпало под ногами, в снег, в грязь, на хрупкую корку наста. Сидели с закрытыми глазами. Неподвижно. Это у них, кажется, называлось «приход». Я смотрел на них сверху вниз, из окна, на их маленькие, вид сверху, головки, на их кукольные тощие руч-

ки, а шприцев, разбросанных по земле, с высоты четвертого этажа не было видно – тонких, как макаронины. Шприцы я находил, когда спускался вниз и мотался под окном. Люди, словившие опасное счастье, исчезали и оставляли после себя пустые шприцы и еле уловимый запах дешевого парфюма. Девчонок среди них я видел редко, толклись все больше парни. Я не мог купить наркотики, они дорого стоили, я знал; мне хватало табака, водки и пива, а на это хватало денег отца. Ломка, да еще какая, а я-то думал – не будет, напрасно думал: меня просто выворачивало, корежило, мышцы над коленями сводило дикой судорогой, икры вообще превратились в одну железную бесконечную боль. Я плевался, ругался, трясся, терял сознание. Царапал бетонный пол ногтями, из-под ногтей сочилась кровь. Мать-земля подсела ко мне. Я даже не думал, что она так поступит. Она придвинулась ближе, подтащила меня под мышки к себе и положила мою голову себе на колени. Я бился затылком ей о колени, а она крепко держала меня, что-то непонятное пришептывая, я мотал головой, а она держала, я выгибался в судороге, а она держала, держала. Она обнимала меня. Я утихомирился. Мне было все равно: я хотел умереть, и как можно быстрее. Она подтащила меня чуть выше и прижала мою голову к своей груди. И гладила по щеке.

Я откуда-то сверху, из тьмы и тумана, со стороны, вроде как вися под потолком гаража, увидел нас обоих: меня, лежащего головой на груди Фроси, и Фросю, крепко обнимаю-

щую меня. Она что-то мне бормотала и пела. Кажется, она пела колыбельную. Я подумал, что она сошла с ума. Но так приятно было колыбельную слушать. Грязная, сажей выпачканная, могучая как здоровенный мужик баба, моя мать-земля, и я, ее сынок недоделанный, тщедушный хиляк, зачем-то поперся на войну, а война взяла и смяла меня, как личинку стрекозы или дождевого червяка, и мать-земля шептала мне: сынок, сыночек, куда же ты поперся, куда прикатился? Катись ты обратно, не страдай, не мучь себя! Ты все равно никогда не узнаешь, кто тут прав, кто виноват! Да это на войне и не надо знать! Она просто война, и все, ничего мудреного в ней нет! Убивают люди друг друга! За что? Да за все! За язык! За деньги! За бабу! За идею! За звезду! За свастику! За вождя! За родину! Да, за родину, за землю! А здесь-то, здесь, на Украине, они ее никак не могут поделить! И черт знает, когда поделят.

Вот такую колыбельную пела мне моя Фрося, богатырская ненька. Я сильнее прижимался щекой к ее камуфляжу, и в щеку мне врезалась железная пуговица. От Фроси пахло свиной тушенкой и немного молоком, и я, окончательно сходя с ума, захотел пососать ее грудь и проверить, есть ли там молоко, и, если есть, просто лежать и глотать, и пить, и напиться до отвала. Я стал младенцем, и, честно, я не хотел возвращаться.

Она время от времени стаскивала с меня свитер и мазала мне спину йодом, и тут я извивался и беспощадно орал. Од-

нако спина подживала. Ужасно чесалась, я все просил Фросю: «Будь другом, поскреби, ну хоть расческой, да просто ногтями». Она вздергивала губу: «Бач, якый! Почешы йому там, почешы сям! Тэрпы!» Я спросил ее: «Ты меня вылечишь и к нашим потащишь?» – «А то!» – ответила она без обиняков. Я так и думал. Меня выхаживали тут лишь для того, чтобы под дулом автомата пригнать к своим, уже не к своим, а к страшным и чужим, чтобы они как можно скорее расстреляли предателя. «Меня убьют?» – так прямо и спросил я Фросю. «Хтось?» – «Наши». Слово «наши» я вылепил губами с трудом. «Ось, дывысь, якый розумный! Убьють! Та ще подывляцця, чы хидный ты кули!» Моя земля умела шутить зло и четко. Не придерешься.

Накормив меня из миски все той же вечной тушенкой, она исчезала – понятно, куда: к нашим. К своим.

Настал день, когда она, натянув на меня пропахший гнилой кровью свитер, сказала: «Всэ, выстачыть валятыся. Йдэмо». Коротко и ясно. И вот он, автоматный ствол, и вот я, иду, перебираю ногами. Если я рванусь и побегу – меня застрелят, как зайца. С украинской стороны не стреляли. Фрося выбрала для моего перемещения затишье. Мы подковыляли к знакомым бетонным навалам. Я впереди, баба с автоматом сзади. Я первый нырнул в бетонный проем и оказался в знакомой гостиной. От нее осталась ровно половина. Вместо другой половины гулял воздух, виднелось небо. Щеки драл мороз. Диваны все были изрешечены, пружины торча-

ли. Я шарил глазами и не видел командира. Ко мне вразвалку подошел Ширма. У него через все лицо бежал огромный жуткий шрам. Он буднично произнес, глядя вроде как на меня и в то же время мимо меня: «Ну что, хохлацкий пленник? Выжил? Молодец». А вот Заяц просто просверливал меня глазенками. Подбежал, хохотал, хлопал по плечам, по спине, и я морщился и стонал, и отдергивался от него: «Ты, слушай, у меня там раны, больно же!» Ребята стащили с меня свитер. Повернули к себе спиной. Кувалда издал длинный удивительный свист. «Вот это я понимаю, отделали». – «Что там у меня?» – клекотом безумного индюка, которого с топором ловят по двору для супа, спросил я. «Там, чувак? Звезда. Пятиконечная!» – «Вот фашисты, ну настоящие», – раздался голос. Это сказал командир, он вошел и стоял у бетонного тороса, и смотрел на красную звезду на моей спине.

Я понял, меня не расстреляют. Значит, Фрося не сказала ничего. О том, что я воевал на стороне АТО и что я стрелял в нее. У меня возникло раздвоение души. Ломки еще приходили, но не такие мучительные, как та, первая. Меня крутило, как в столбняке, я задыхался, но терпеть это было можно. Когда меня ломало, я ощущал себя украинцем, и как будто бы меня пытают ополченцы. Ведь они тоже сражались за идею. Мы за идею, и они за идею. Поросенок пытался сто раз втолковать мне, за какую. И ему это, в общем и целом, удалось. Я понял их идею. Я видел: у них своя тут родина, своя мать-земля, и то, что один огромный кусок их земли

захотел от них отколоться, после того, как Россия вроде как без спросу взяла себе другой такой же огромный кусок, это бесило их, у них по этому поводу была своя ломка, их всех так же мучительно корежило и вертело. Крым! Что толку, что там люди захотели скопом перевалить в Россию и все проголосовали за это. Тому голосованию, я понял, на Украине никто не верил. Русский Крым всех взбесил. Мы-то радовались, мы прыгали, пели и плясали: «Крым вернулся! вернулась к нам наша земля!» – а украинцы скрипели зубами, вот что. А тут еще Донбасс. Взбеситься можно по полной программе. Когда мне Поросенок все это вешал на уши, я видел, как настоящее страдание уродует его лоб и рот. Он стонал, кричал, как от боли. «Никогда Украина не будет вашей! С нас довольно ваших красных советских годов! Это была целая вечность, вашего красного ига, пес знает, как мы ее пережили! Но теперь мы независимые! От вас, убийц! Неза-леж-ны-е, ты понял, понял?!» Я кивал. Он разрешал мне только кивать.

А тут, среди наших, родных партийцев, я чувствовал себя и правда теперь чужаком. Я только притворялся своим. Чтобы меня не убили. Ну я же не мог так запросто подойти к Ширме, к Родимчику, к Шилу и сказать: «Шило, я в тебя стрелял. Я стрелял в вас, ребята». Да, я жестокий парень, я это сам признаю. Но тут нутро мое разорвали надвое, и я потерял настоящего себя. Я потерялся. Потерять себя – знаете, это такая тяжелая болезнь. И это сами знаете где лечат.

Но тут, поблизости от аэропорта, не было психушек, не было даже простых больниц, ближайшая больница находилась в Донецке, и в город увозили раненых. Раненый Медведь лежал за продырявленным осколками диваном. «Почему за диваном, а не на диване?» – спросил я командира. «Он сам попросил положить его туда. Когда начинается обстрел, он прячет голову под диван, трясется и плачет».

Не было мне покоя. Ночи напролет я не спал. Мы тут все мало спали, но я перестал спать вообще. Мороз усиливался, даже жаровня не спасала. Я все думал о тех ребятах, об украинцах. Да, враги. Но никто из нас не вставал на их сторону просто так, по-человечески. Да, в Одессе, в прекрасный майский день, перебили и сожгли кучу народу в Доме профсоюзов. Вся Россия по телевизору глядела, ролики в интернете крутила, в Мыколу-сотника плевала, и слюна по экрану сползала. А я понимал: уже шла война! Это был уже метод войны. А метод войны – смерть, другого народ не придумал. Чтобы спасти своего, надо умертвить чужого. И еще я знал одно: жестокость заразна. Фашисты вон победили в Германии потому, что вся Германия была как сырое яйцо на сковородке, мягкая, домашняя, булочка с вареньем, а Гитлер пришел и сказал: вы не булочка с вареньем! Вы – народ героев! А герой жесток! Герой должен сражаться и побеждать! И убить всех, слышите, всех во имя своего великого народа! Ну все, сливай воду, туши свет, все и опьянели от этой идеи. Весь народ опьянел. А теперь, говорят, немцы, на мо-

локе обжегшись, дуют на воду. Боятся там у себя евреев как огня, не дай бог немцу еврея обидеть, а во время второй мировой давили их миллионами. Как клопов. Боятся эмигрантов – а мне Баттал однажды сказал: скоро в Европу хлынет людской поток с Востока, берегись, Европа! Скоро, Европа, тебя не станет! Я смеялся и кричал Батталу: друг, кончай прикалываться! «Я не прикалываюсь, – отвечал Баттал, я серьезно. Будет великое переселение народов. В древности так было, и так будет сейчас».

Ночь. Это, я вам скажу, страшное дело. Ночью страшно. Все спят. Храпят. Или делают вид, что спят. Я бессонным мозгом, похожим на страшную птицу, у него вырастают страшные крылья и страшный клюв, ловлю летающие по морозной гостиной мысли других. Мы все спим в спальниках. Спальник от холода не спасает. Командир дал мне чистый свитер и чью-то куртку. Куртка с чужого плеча, с убитого. Я не видел тут Погона. Спросил, где он. Да и так можно было догадаться, зря спрашивал. «У нас потери еще небольшие, можно сказать, никакие, Погон и еще этот ваш, как его, – командир с трудом вспоминал прозвище, – Горбунок. Горбунок, да? Веня Погорелов и Евгений Рудов. Как с куста». – «Здесь похоронили?» – спросил я. Командир глянул на меня, как на идиота. «Отправили двухсотый. С автобусом. Автобус приходил». И вот надо спать, знаю. Надо. Потому что наутро трудно будет воевать. Будешь двигаться как робот. И можешь даже упасть под пулями и заснуть, такое с бойцами бы-

вало. Мозги отключаются. Командир сказал: скоро будем готовиться к бою внутри аэропорта. Штурм готовить. Штурм! Это страшно. На нас побегут люди, мы побежим на них. Мы круче. Мы дерзкие, четкие, у нас все отточено, мы умеем атаковать, подошли наши танки, мы задавим огневые позиции укропов только так. Мы заложим повсюду взрывчатку. И тогда попробуй схвати нас за хвост. Мы сами тебя, враг, схватим. Враг! Я видел перед собой чуть раскосые глаза медбрата Шапко, что, скалясь, втыкал мне в вену иглу. Видел крошечные острые глазки Поросенка. Мог бы я с этими людьми сидеть в сквере на скамейке и беседовать о девчонках, и потягивать пиво? Мог. Или все-таки не мог? И я для них навсегда враг – русский, поганый русак, заяц-беляк, дерьмовый, гадкий москаль? Ночь, она идет неотвратимо. И утро тоже неотвратимо. И время вообще неотвратимо. Вы понимаете, есть вещи, которые нельзя повернуть назад. Как бы мы ни хотели. Я все видел перед собой ногти отца, что медленно, сверху вниз, процарапывали наши старые обои. Все видел, видел. И ночью я видел это ярче, четче.

Ночь мучила меня, она была моим недосягаемым наркотиком. Я видел ее над собой и вокруг себя, и я говорил с ней, а она все молчала, молчала. Я шептал ей: я стану другим после этой войны, точно стану другим! А каким, спрашивал я сам себя хитро, издевательски, каким это другим ты станешь, ты, убийца и злодей? Я уже стал другим, если я думаю о врагах, как о своих. Этого нельзя делать солдату. Я

сейчас солдат, и я солдат русской армии, про которую в России говорят, что ее на Украине нет. Да, ее нет: нет отрядов, рот, дивизий, полков. Нет генералов. Но она есть. Это все русские Донбасса. И все ополченцы, что едут из России воевать за Донбасс. Поэтому я русский солдат. Я убил отца, да, но я уже убил много врагов. «Ха, ха! – хрипло шепчет мне на ухо ночь. – Какие же это враги? Это же люди! Люди! И они бьются за счастье своей земли! Они хотят очистить ее от тебя! От тебя!» Да, от меня, именно от меня. А может, я сам мир от себя очищу? Я заталкивал в рот край спальника, чтобы не закричать. Вцеплялся зубами в толстую теплую ткань. Мысль о самоубийстве казалась мне пошлятиной. Убивали себя только маменькины сынки – от школьной обиды, от несчастной любви. Мужчины жили, жили любой жизнью, без выбора. Я с трудом, поздно, но пытался стать мужчиной. Вот если мне это не удастся – да, пожалуйста: река, крыша, колеса, петля.

Мне было дозволено теперь все, после того, как я убил отца, и мне ничего не было дозволено. Я ждал команды. Я все равно был скот, и на меня был надет хомут. Ночь вырезала новую звезду, теперь на моей груди. Я выпрастывался из спальника, задирал свитер – давай, тьма, режь. Рисуй все что хочешь. Я сам, ногтями, под которые недавно загоняли обойные гвозди, выцарапывал на собственной коже не звезду, а крест. И старый шрам, память о том, как я косил от армии, омывался новой кровью: у меня ногти отросли длинные

и острые, как у зверя. И я подумывал, не отгрызть ли мне их. Ножниц в отряде, кажется, не было, мы тут были ни разу не портные.

Неотвратимо все. Неотвратим приказ, неотвратима атака. Командир сказал нам: «Второй отряд на на подмогу. Гарнизон укрылся за обломками, в той стороне терминала». Мы запаслись гранатами. Саперы пробили дырки в полах – туда можно было бросать гранаты. Груды камней и мусора и помогали, и мешали нам продвигаться. Мы двигались, как во сне, мы стреляли и падали на бетон, мы продвигались быстро и жестко, а нам казалось – стояли на месте. Мы сами превращались в дыры: тело переставало быть плотным, сквозь него можно было глядеть, в него, как в теплую, полную крови линзу можно было рассмотреть медленно ползущего червя времени. Шел бой, перед нами вставали баррикады, сделанные чужими солдатами; мы лезли на эти баррикады, забрасывали их гранатами, бросались на пол и обхватывали головы руками. Мы продвигались по коридорам, и коридоры превращались в бетонное тесто. Руки рваного железа били нас по щекам. Мы пробрались уже на верхний этаж. Гарнизон врага был под нами. Заяц подмигивал мне ярким бешеным глазом, торчащим из сгустка сажи. «Прорвемся, Фимка!» Мы поливали из автоматов, и мы с ними срослись, я даже думал, что вот бой окончится, а меня от автомата будет не оторвать, я к нему уже приварен намертво. Мышиные норы, крысиные ходы, а их сделали в железе и камне всего

лишь люди. Это мы, люди, шли в атаку, а отстреливались киборги. Да, так, киборги – так называли тех, кто защищал аэропорт. Они искренне думали, что они, герои, защищают свою Украину. Той зимой Донецкий аэропорт и правда стал, весь размолотый в осколки, в каменные клочки, морозной, в крови, ненькой Украиной. Что она, измазанная полосами белого мороза и сизого инея, черная, губастая моя земля, думала о нас?

Огонь работал за нас. Мы только исправно посылали его. Огонь гнал солдат гарнизона в западню. Они понимали это. И мы понимали. Мы знали, что – вот, все закончится скоро. Я уже не слышал, как рвутся снаряды и как свистят пули. У меня опять пропал слух. В полнейшей тишине я двигался, поднимал автомат и посылал вперед огонь, а потом менял расстрелянный рожок. Мне везло. Я все еще двигался и все еще стрелял. Тишина вокруг меня была такая благостная, что на миг я подумал – уж не убит ли я, и не воюет ли это моя полоумная душа, а сам я валяюсь под бетонным козырьком, лежу себе, в кровище, неподвижный. И тут я обернул голову и увидел, как медленно падает, валится в крошево бетона Шило. Он палил из автомата рядом со мной. Когда он упал, вокруг меня разом, страшно, взорвались все звуки. Я сам едва не упал от дикого грохота. Я не выпустил из рук автомат и продолжал стрелять. Все равно Шило лежал мертвый, я видел это: ему разнесло череп вдребезги.

Командир побежал по разбитой лестнице. Я испугался,

его сейчас проткнет штырь арматуры. Он показался между завалов с желто-синим знаменем в руках. Из проема один за другим выходили защитники гарнизона. Они выходили с поднятыми руками. На лицах у них была написана ненависть, и больше ничего. Взорванные нашими гранатометами и расстрелянные нашей артиллерией два бронированных тягача горели рядом с пассажирскими рукавами аэропорта. Я смотрел на эти железные факелы. Не сводил автоматного ствола с выходящих из укрытия людей. Люди? Враги! А я кто такой?

«Дайте хоть раненых спасти!» – крикнул солдат с бритой, как у нашего Кувалды, башкой; он поднимал над головой только одну руку, вторая висела вдоль тела плетью. Командир махнул рукой: «Выносите раненых! Оставляйте здесь, только не на открытом месте! Огонь еще не прекращен!» И правда, наша артиллерия еще лупила, был слышен дальний гром. От земли поднимался туман. Все вышли, больше из крысиной норы не выходил никто. «Всех выкурили?! – крикнул командир. – Или проверим?!» – «Проверяй!» – зло крикнул солдат с повисшей рукой. Видно, руку перебило осколком в локте. «Да мы сейчас все ваше гнездо взорвем к божьей матери! – выкрикнул командир. – Уже саперы работают, ну!» – «Подрывай, – сказал солдат, он так и стоял перед нашим командиром с поднятой рукой, будто салютовал. – Никого там нет».

Они все, сдающиеся в плен, выстроились в шеренгу – и я

смотрел на их лица, на простые лица обычных людей, и все думал: мы их убивали, они нас, и к чему убивали, и зачем? Страшные мысли, потому что простые. Все простое страшно. Потому что из простого выхода нет, нет выбора. Выход есть только из сложного лабиринта. А когда все лежит на ладони, когда в твоей руке граната, и ты должен сорвать чеку – ну, это проще пареной репы, как говорил мой убитый отец. И это чертовски страшно. Не каждый сможет это сделать без того, чтобы не сойти с ума.

Командир обвел пленных запавшими глубоко под череп глазами. Утер рукой щетину вокруг рта. «Так что? Киборги, да? Сдаетесь? Выкурили мы вас? – Сам себе ответил. – Выкурили!» Он стал считать людей по головам. Я молча считал вместе с ним. Выходило двадцать. «У нас в отряде было пятьдесят», – прохрипел солдат с повисшей рукой. «Пятьдесят? Ничего себе! Тридцатник что, все двухсотые? Или разбежались, как тараканы?» – «Не обижай мертвецов, начальник, – по-лагерному выхрипнул солдат с повисшей рукой. – Мертвецы недостойны такого презрения. Презирай, но не так, – он дернулся и опустил руку, – подло». Они все стояли перед нами, и я ощутил, как плохо быть пленным; но я хорошо знал, знал это не знанием, а просто верным собачьим чутьем, что мы пленных не будем пытать. Не будем вырезать им на спине ножом красную звезду. Мы не фашисты, хотя вот мы, наша партия, все время только и делали, что орали и малевали на стенах домов: «Мы русские наци!

Россия для русских!» И нас, да, нас фашистами очень часто называли, и в газетах, и в интернете, и в трамваях-автобусах, и везде, я однажды в электричке с Сортировки ехал, так ко мне старуха подошла, ткнула в меня сухим пальцем и проскрипела: «Фашист ты, бритый фашист! Сыночков наших здесь, в вагонах, режешь!» Я бабке тогда ничего не ответил. Повернулся и пошел по вагону. Берцами стучал. И себе под нос беззвучно, зло повторял: да, я фашист. Да, я фашист! А теперь стоял с автоматом наперевес и повторял, балда, совсем другое: нет, мы не фашисты. Да, мы не фашисты!

Командир заставил нас всех, шеренгу пленных и нас, ополченцев, оставшихся в живых, отойти подальше от терминала и лечь на землю. Саперы подорвали третий этаж. Я сперва услышал крики, это были команды, мои контуженные уши не разобрали, какие; потом раздался грохот, он все приближался, как атомный взрыв, и я опять оглох. Слабые у меня, видать, оказались барабанные перепонки. Пленный боец, из той шеренги, внезапно подогнул колени, сел на корточки, снял каску, крепко, яростно вытирал кулаком лицо и ревел. Он ревел как бык, и даже подвывал. Солдат с повисшей рукой дал ему подзатыльник. Парень все сидел на корточках и по-цыгански тряс плечами. Он плакал и не мог остановиться. Он был очень молоденький, я не знаю, сколько там ему было лет, наверное, лет восемнадцать, вчера в коротких штанишках под стол ходил.

Мы их сторожили, пленных, пока не пришел автобус

и не увез их всех в Донецк. Командир привел меня в гостиную, я глядел на серое небо у нас над головами, и на угрюмые тучи, и на дырявые диваны. Из-за дивана командир вытянул мой рюкзак. Я его узнал и тихо охнул. Командир вытащил из рюкзака грязный нетбук и протянул мне. «Пиши», – тихо сказал он. «Про что?» – спросил я и чуть сам над собой не расхохотался. Это ж надо такое сморозить, «про что». «Все про то! – повысил голос командир. – Про АТО! Про нас про всех!» Замолчал. А мне-то что было писать? Слова кончились. Я видел перед собой лежащего Шило с расквашенными мозгами. И у меня свербило внутри только одно: Шило надо похоронить, похоронить его надо. Иначе его птицы расклюют, или собаки сгрызут.

Я сказал командиру: «Шило убили». – «Вот об этом напиши», – опять очень тихо, исчезающим голосом, сказал он.

В очередной раз пришел автобус. Он забрал нас всех и повез в Донецк. По дороге мы узнали, что тяжело ранен Дмитрий Ярош, один из лидеров правых на Украине. Я ехал и думал: мы правые, они правые, так что бы нам не подружиться, а мы друг друга бьем? И будем бить. Заяц говорил со вздохом: «Аэропорт этот гадский, да он же весь смертью набит, там куча растяжек и мин осталась, их же там под завязку, туда нужно срочно отправить целую роту саперов, чтобы все это дерьмо расчистить!» Командир покачал головой: мол, без тебя знаем, что делать. Я оглянулся туда, сюда и вдруг понял: Фрося-то не с нами, Фроси нет. Мать моя земля!

Где же ты, ненько? Мои зубы сами проскрипели, с болью, едва не раскрошил их, тихую песню. Моя земля осталась там! Да, там. И я ее больше не увижу. К ней больше не вернусь. Ах ты, вышибет сейчас слезу, сопливая ты тоска, да уже дальняя, отсюда не видно.

Я трясся на сиденье, оно, как и наши диваны в гостиной, было тоже дырявое, тоже погрызенное пулями и осколками, и думал: вот Фросю убьют, на черта она там застряла, ведь то, что укропы сдались в плен, ничего не значит, там еще стреляют и будут стрелять. И, может, долго. Когда стреляют, главное – не ошибиться. Правильно отпрянуть, вовремя броситься в укрытие. Хорошо тощим и гибким. Они наклоняются быстро, пригибаются низко. А моя большая, огромная земля, куда ты от меня покатилась? Подожгут тебя, пробьют насквозь. Мне было стыдно рыдать, я не хотел, я ненавидел это все, весь этот детский сад со слюнявчиками, когда плачут, но меня прошибло. Я был совсем один. И толку, что вокруг меня гомонили люди. Вы понимаете, о чем я. Я хотел ее шлепнуть, мою землю, а она меня спасла от гибели, выходила и снова грубо втолкнула в жизнь: живи!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.